

ВОЛШЕБНАЯ АКАДЕМИЯ

КАРИНА ДЕМИНА

ВНУЧКА БЕРЕНДЕЕВА.
ВТОРОЙ СЕМЕСТР

Annotation

Тяжело в бою было, но и в ученье нелегко приходится Зославе. Не так проста наука магическая, как то ей прежде мнилось. Да и дела сердечные запутались, что пряжа у дурной рукодельницы. Поди-ка разберись, сердцем выбирать, головою или политическими соображениями. А еще неведомый лиходей в Академии объявился, студентов извести пытается, то зелья отравит, то ловушку на тропе поставит. И поди-ка пойми, царевичи ему надобны или внучка берендеева, не в свои дела нос любопытный сунувшая?

Карина Демина

Внучка берендеева. Второй семестр

© К. Демина, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Глава 1. О вещах зловещих и обрядах тайных

Катилась зимняя гроза по полю.

Малевала в белой круговерти лицо за лицом. Поднимала с земли снежные фигуры. И каждая виделась живою, плотной, настоящей.

Шли мертвецы.

Цеплялись друг за друга тонкими руками, вязали хороводы. И разевались рты, заходились немым криком. В пустых глазах горел подаренный бурей огонь.

Но что было до того человеку, стоявшему посреди поля?

Он не боялся ни грозы, ни рожденных ею призраков, смело заглядывая в лицо каждому. И те, теряя былой гнев, отступали, рассыпались колючей крупой, сроднялись с обыкновенными сугробами.

Блеснула молния.

Зазвенело небо сухим громом, будто кто по тазу ударил. И в воцарившейся следом тишине стало слышно хриплое натужное дыхание человека.

Он еще помнил, что люди дышат.

И, приложив ладонь к груди, убедился, что вновь подаренное сердце бьется. Человеку было удивительно слышать этот стук, но не чувствовать ни сердца, ни тепла. Он зачерпнул горсть колючего снега и потер лицо.

— Не стой на ветру, сынок. — В отличие от человека, женщина мерзла. Она куталась в меха, однако драгоценные соболя не способны были защитить ее от дыхания зимы.

— Я не чувствую. — Человек стряхнул с ладоней снег. — Ничего не чувствую... с каждым разом все хуже. Отпусти меня!

На эту просьбу небо отозвалось венцом из молний.

— Нет.

Женщина шла медленно, проваливаясь в рыхлый снег, и мертвецы расступались в страхе перед мертвой ее силой. Человек и тот отшатнулся, когда протянула она к нему белую руку. Холодные пальцы скользнули по щеке.

— Ты совсем замерз, мой мальчик, — с печалью произнесла женщина.

— Я умер.

— Нет, — она покачала головой, и на щеках блеснули не то слезы, не то истаявшие снежинки. — Конечно же нет... что за глупости ты говоришь... мертвецы...

Он схватил ее за руку, сжал, стянул расшитую бисером рукавицу и прижал к груди.

— Я давно уже умер, мама...

— У мертвецов нет сердца.

— У живых зачастую тоже, — он произнес это с печальной улыбкой. — Их стало больше... посмотри... я смутно помню ее... как ее звали?

Из снежного хоровода шагнула девица, даже мертвая, слепленная магией и бурей, она была красива.

— Гордана... Гордана Неждановна... — Женщина щелкнула пальцами, и белая фигура рассыпалась, только ветер завыл горестно.

— Я ее любил?

— Нет. Она не стояла любви... просто глупая девка... одна из многих. Сколько их таких еще будет?

— Это ты мне скажи, матушка, сколько? — Он смотрел на хоровод, пытаюсь вспомнить, где и когда видел ту или иную девицу... а мужчину? Вот того, с лицом, перекроенным шрамом. Такое не забудешь. Ему мнилось, что не забудешь, а нет, память была чиста.

Пуста.

Заснежена.

И та, которая подарила ему жизнь, а с нею и забвение, не спешила помогать. Она гладила лицо, а он почти не ощущал прикосновений.

— Хватит, матушка... я больше так не хочу... заемная жизнь... мы оба знаем, что долго она не продлится. — Он перехватил ее ладонь, упоительно горячую, и прижался к ней губами. — Смирись. Отпусти. И живи дальше...

— Без тебя?

Она не желала. Она тоже слушала бурю, но в голосе ветра чудилась ей отнюдь не скорбь, скорее уж торжественная медь труб и грохот барабанов. Тяжкая поступь войска, готового повиноваться ее слову...

...не ее, но того, кто рожден был повелевать, пусть право это отобрали вместе с жизнью. Мнилось им, тем, кто решал и решил за обоих, что могут они творить зло, что никто не узнает правды, что...

...стерпели небеса.

...смолчала земля.

...и Божиня, коию мнили милосердной, глуха осталась к слезам матери.

Приговорили.

Но уцелела. Чудом ли? Чужим ли милосердием, сброшенным, что затасканная дрянная шубейка с барского плеча? Волею ли Темной сестры, к которой воззвала отчаявшаяся душа?

Женщина не знала.

Она помнила, как очнулась.

...перевернутые сани.

...хрипящую лошадь, из горла которой торчала оперенная стрела.

...мертвых людей... одной девке голову снесли да шутки ради на кол насадили. Другая лежала, раскинувши руки. И женщина помнила что задранный подол, что белые бесстыдные ноги, что лицо, прикрытое тряпицей. Третья... четвертая... она ходила от тела к телу, останавливаясь у каждого, не испытывая ни отвращения, ни страха, лишь запоминая все.

...изломанного старика, поставленного стеречь ларь с деньгами. Ему размозжили голову, а руки переломали, и видно, что помирал старик долго. А старуха ключница и того дольше. Чем она досадила разбойникам?

Сперва ей думалось, что виноваты лихие люди, а после пришло понимание: среди мертвецов нет ни одного охранника. А ведь они, верные, как мнилось, обязаны были полечь первым заслоном.

Заслонить от стрел.

От копий.

А они... мальчишка молоденький лежал, зажимая немеющими пальцами дыру в животе. Он был еще жив, и жизнь, которая едва теплилась в его глазах, завораживала. Женщина склонилась к самому лицу. Она с непонятным ей самой наслаждением вдохнула запах крови и плоти, того, что прежде полагала грязным, а после сунула унизанные перстнями пальцы в дыру.

— Где? — спросила она, и собственный голос показался чужим, глухим, что воронье

карканье.

Мальчишка закричал.

Ему было больно, но ее радовала эта боль. Она наполняла остывшее сердце силой, и когда то толкнулось в груди, застучало вновь, женщина вытащила руку.

— Где, — она знала, что в ее воле и власти было продлить мучения несчастного, как и отпустить его светлой дорогой. И он, кажется, понял.

— Т-там... — он с трудом вытянул руку. — Я... я п-пытался... я клятву... я...

Она слизнула каплю крови.

И подарила смерть.

Не из милосердия. Ей нужна была эта жизнь.

Подобрав полы собольей шубы, она пошла. Она шла долго и проваливалась в сугробы, но не ощущала ни досады, ни гнева, как не ощущала холода и боли. Она знала, что была мертва, что умирала мучительно: клинок пробил и шубу, и драгоценные ткани, и шелка spodних рубах, не говоря уже о белой холеной коже. Его провернули в ране, расширяя и выпуская черную кровь. А после вытащили.

Почему не добились?

Могли бы и голову отсечь... но нет... хотели, чтобы мучилась? Или приказ был таков? Плата за ее упрямство, за своеволие, за нежелание подчиниться высочайшей воле...

Наказание.

Умирать и слышать, как заходятся криком дворовые девки.

Как хрипят.

Воют.

Стенают... и осознавать, что это она виновата, что смирилась, и все иначе бы повернулось. Но нет, застила глаза ей гордость боярская. Так платой за нее отныне — жизнь. И ладно бы ее, своей ей не было бы жаль. Сама б подняла чашу на пиру свадебном. Сама бы слово сказала, желая молодым долгих лет. Сама бы и выпила до дна, с кислым вином, с горьким ядом, слезою приправленным. А после бы ушла тихо, как уходили иные, те, которые до нее были...

...но нет.

...не за себя она боялась. За сыночка...

Лежал под елочкой, на снегу и голенький почти. Мальчик ее сладкий, кудри сахарные кровью склеились, глаза бирюзовые в небо глядят. Улыбался... точно знала — улыбался. И значит, быстро умер. Милосердно. Конечно, за что на него, дитя сущее, гневаться? Вот и подарена ему была милостью царской легкая смерть.

Она упала на колени.

Закрыла глаза.

Завыла.

Горестно, что волчица... глухо... и тогда-то вернулась боль, а с нею — и сердце, стучавшее мерно, что механизму, вновь ожило по-настоящему.

...удалось.

...нет, нельзя сказать, что была она беспамятна и не ведала, что творила.

Ведала.

Когда руками копала могилку в снегу, обламывая ногти о мерзлую землю.

Когда укладывала на дно колючие еловые лапы.

И на них — своего мальчика, в шубу завернутого. Когда засыпала его рыхлым снегом...

когда выволакивала камни, окружая могилу. Шептала слова из книги проклятой, которая, о диво, при ней осталась. Не знали? В царских хоробах много сокровищ, которые никто-то сокровищами не считает. И эта книжица... случайно попала под руку, выпорхнула, сыпанула пылью на руки. Раздразнила любопытство.

Нет, тогда-то она и не думала воспользоваться.

Увезти хотела.

Чтоб не попала эта книжица в чужие руки, чтоб не причинила зла... спрятать.

Изучить.

А вот час пришел, и крови пролитой хватило. Чем не жертва? И не ею принесена. Осознав это, она рассмеялась.

Уже позже, окончательно решившись, она шла, брела, не разбирая дороги... и добрела до деревеньки...

...ее не ждали.

...встретили брехливые собаки. Глупые создания, в которых жизни было — капля. И эта капля не насытила, как и толстый мужик с оглоблей, вздумавший заступить ей дорогу.

Она срывала чужие жизни, что ромашки для венка, боясь лишь одного — что слишком мало их...

...несла.

...бежала босиком по колючему снегу, несла его, сплетенный древним знанием. Задыхалась от боли. И надежды. И страха, что надежды этой — недостаточно...

...лила молитву земле.

И собранную силу в посиневшие губы своего мальчика. Звала. Клялась. Кляла и обвиняла. Рыдала, позабывши и о гордости, и о мести, желая лишь одного — чтобы ожил.

Исполнилось.

...тогда это было сродни чуду. Дрогнули заиндедевевшие веки, и снежинка сорвалась со светлых с рыжиною ресничек.

— Мама... мне так холодно, — сказал ее мальчик, протягивая руки. — Мамочка... почему мне так холодно?

— Ничего. — Она обняла, прижимая к груди того, кто был ее жизнью и надеждой. — Скоро я тебя согрею...

Знала ли она, чем обернется?

А если бы знала... нет, ничего б не изменилось.

Жизнь за жизнь?

Пускай.

Если ему, тому, кто был проклят, позволена такая плата, то и ее мальчик ничем не хуже.

— Ничего, — повторила она, обнимая сына.

Вырос. И только Морана знает, чего стоил ей каждый его год... посильная плата. Она не жаловалась. Она приспособилась. И хоронить. И воскрешать. И утешать.

Уговаривать.

Избавлять от лишней боли, ведь он, ее мальчик, так хрупок. К чему ему лишняя память? Лишние мучения? Она оставит все себе, ибо такова доля матери.

— Отпусти, — взмолился он, склоняя голову к ее плечу. — Если любишь...

Конечно, любит. Ради любви все... и ради справедливости... ради него...

— Скоро, — пообещала она, перебирая тонкими пальцами кудри. — Скоро все закончится, мальчик мой... и ты оживешь. По-настоящему оживешь... я нашла способ.

Гроза стихала.

И мертвецы рассыпались белым крошевом.

Отступали.

— Я согрею тебя, — она набросила на плечи сына шубу, пусть в этом и не было смысла. — Поверь... пожалуйста... в последний раз поверь.

— А если не выйдет?

Он смотрел в ее глаза с такой тоской, что сердце сжалось.

— Если не выйдет, — женщина облизала обветренные губы, — тогда я позволю тебе уйти...

— Спасибо, мама...

Глупенький ее мальчик.

Такой наивный.

На другом поле кипело пламя.

Оно летело по земле, оставляя черные следы ожогов. И снег вскипал. Шипела, плевалась вода, умирая в сердце огненного вихря. А он поднимался выше и выше.

До самых небес.

И те выгибались, страшась обжечься.

Звезды горели яркие, что угли. А угли хрустели под босыми ступнями, словно лед. Пламя цеплялось за пальцы азарина. Огненными нитями собиралось в ладонях, свивалось в ручьи, а ручьи разрастались реками.

— Не стоит бояться огня, — сказал Кирей и сунул руки в огненный вихрь. — Оно твоя суть.

Арей стоял в отдалении.

Он был бос.

И простоволос.

Он глядел на огонь жадно, но не решался протянуть руку.

— Сути невозможно лишиться и остаться живым... собой. — Кирей подбросил с ладони огненную птицу. — Поэтому... ты или зажжешь огонь...

— Или?

— Или умрешь.

— Сегодня?

— А чем тебе вечер не нравится? Тихо, спокойно... небо вон какое...

Завеса пламени окрашивала звезды алым.

— Вечер неплохой... но как-то я... морально не готов пока...

— А зря. Смерть, она такая... — Кирей усмехнулся. — Ждать, пока изобразишься, не станет. Страшно?

Арей тряхнул головой и признался:

— Страшно.

— Ты свободен уйти. Держать не стану. Уговаривать тем паче.

— Но я все равно умру.

— В какой-то мере. — Глаза Кирея полыхнули алым. — Возможно, ты умрешь физически. Когда то, что в тебе осталось, погаснет. И это, поверь, далеко не худший вариант. Но...

— Но?

Арей ступил на выжженную землю.

— Если убрать суть явления, то само это явление перестанет быть собой. Понятно объясняю?

— Не слишком.

Пламя отпрянуло, но тотчас потянулось к новой игрушке. Оно, новорожденное, почти отпущенное на свободу — нить Киреевой воли была слишком тонка, чтобы обращать на нее внимание, — было любопытно. Ему хотелось поскорей добраться до того, кто либо смел, либо глуп, либо и то, и другое разом.

Вспыхнет ли эта игрушка былъем?

Или же будет тлеть медленно и долго?

Рассыплется ли пеплом на куски? Обернется ли драгоценным камнем, из тех, что рождались в недрах гор? Пламя помнило камни. И горы, в которых спало. Как помнило себя в сотнях и тысячах иных облиций. В нем нашлось бы место еще одному.

— Ты есть огонь. Тело — это лишь оболочка. Вот, смотри, — Кирей развел руки и вспыхнул. Он горел, не сгорая, и тем нравился пламени.

Оно даже готово было подчиниться ему.

Ненадолго.

Это ведь тоже своего рода игра: кто кем управляет?

— Не бойся потерять оболочку. Не держись за нее. Иначе или лишишься, или останешься только с нею. А уж чем она заполнится, когда погаснет последняя искра... прежде чем сделать шаг, подумай хорошенько.

— О чем?

— Страх помешает.

— И поэтому ты меня пугаешь? — Арей протянул раскрытую ладонь к огню, приветствуя древнюю силу. Возможно, древнейшую из всех.

Боги?

Пламя существовало задолго до богов.

Оно могло бы рассказать о сотворении мира. И о самом этом мире, сухом и безжизненном, отданном всецело во власть огня...

...Арей слышал песню.

...о рождении мира.

...о великой пустоте, которая исторгла сгусток огня.

...о жидких камнях, о пламенных океанах, о том, из чего родились и земля, и воздух, и воды...

— Я просто хочу, чтобы ты отнесся к вопросу серьезно.

— Куда уж серьезней.

Огонь тянулся. Он обещал боль, много боли, но разве не она сопутствует любому рождению? Кем Арей хочет стать? Ветром? Прахом? Льдистым камнем, который так ценят люди? Горой ли? Пламя исполнит его желание.

Оно извечно.

Исконно.

— Собой. — Арей шагнул в раскрытые объятия вихря. — Я хочу стать собой.

Рой огненной мошкеры впился в лицо, заставляя стиснуть зубы.

Пламя не обмануло.

Было больно.

Было...

...страшно.

Когда тело его, пусть и оболочка — теперь Арей видел, что именно оболочка оно и есть, пустая и никчемная, изношенная довольно, вряд ли способная выдержать силу истинной искры, — распадалось. Он чувствовал, как стораеt кожа.

Плавятся волосы.

Вдыхал смрад горящих костей.

И жил.

Несмотря ни на что, жил.

Он слышал теперь песню огненных струн, и видел, как тянутся они в землю, сквозь землю, к самому ядру ее, где становятся частью огненных же рек. Он в какой-то миг получил право слышать голос каждой.

Выбирать.

Пламя не лгало.

Никогда.

Он и вправду мог бы стать им, предвечным огнем, запертым в базальтовых глубинах безымянных гор. Гневливым и ярым, несущим свою ярость наверх, сквозь щиты и трещины в этих щитах. Он бы выплеснулся потоками лавы сквозь узкие горловины спящих вулканов.

Стал бы камнем.

Пеплом.

Мертвой птицей, рассыпавшейся в полете.

Он стал бы алмазом.

Рубином.

Змеем морским желтоглазым, хранящим кладку крупных яиц, в каждом из которых дремала искра.

Он стал бы...

...собой.

Арей силой воли велел себе отпустить струны. Отступить.

Вернуться.

Он был пламенем?

Пускай.

Это верно. Все азары пошли от одной искры, но если так, то искра эта горит в его крови. Она не может погаснуть. Истина? Пламя молчало. Оно готово было принять Арея. А вот он... хватит ли у него самого сил сотворить себя? Если он уверен, пусть попробует. Человек — это ведь просто, куда проще вулкана или змея.

Камня.

Птицы.

Человек — это только звучит гордо, а на самом деле что он такое? Слабое никчемное создание. Неужели Арею вновь хочется стать таким? Он ведь свободен сейчас. А не ему ли знать, сколь дорога свобода.

Абсолютная.

— Нет, — это слово было рождено из огня и огню же стало ответом. — Нет... я... Есть. Существую. Я...

Он снова чувствовал жесткую спаленную корку ее под ногами. И сами ноги, обожженные, сожженные почти, но способные удерживать никчемное слабое тело.

Это тело горело, но если не сторело окончательно, значит, оставался шанс.

Все просто. Надо лишь вобрать в себя пламя. Все, до последней искры. До капли. До крошки. До...

...он пил и не способен был утолить эту жажду.

...он впитывал огонь, страшась, что того не хватит, чтобы затянуть все прорехи в теле.

...он был.

И стал.

И устоял. И даже сумел сделать шаг, прежде чем рухнуть на разодранную ожогами землю.

— Надо же, живой, — едва ли не с восторгом произнес Кирей. Он присел на корточки и руку протянул.

— И не надейся.

Арей прислушался к себе.

Сила была.

Прежняя? Нет. Иная... чистая? Живая? Та, которой он лишился, только теперь Арей понял, сколь самонадеянно он полагал ее истинною. Человеческая кровь разбавила ее, извратила, но теперь пламя вернулось.

— Вставай уже, племянничек, — Кирей не позволил додумать. — Потом поклоны бить станешь.

— Не дождешься, дядюшка.

Но руку протянутую Арей отвергать не стал. Все ж гордость и глупость — суть разные вещи. И пусть пламя кипело внутри, однако же физических сил у него не хватит и на то, чтобы до края поля доползти. А за краем тропинка начиналась, сквозь лесок, через овраг...

Нет, сам он не доберется.

— И вот еще что, племянничек. — Кирей помог подняться. И подумалось, что ожоги он способен залечить столь же легко, да не станет. И не оттого, что презирает слабого родича, мало того, что рабом рожденного, полукровку, так еще и силы лишившегося.

Нет.

Теперь, странное дело, Арей лучше понимал того, кто глядел на него сверху вниз, с насмешкою и вызовом.

Сам должен справиться.

В этом суть.

С огнем ли. С ожогами. С... прочим. Если сумеет — честь Арею и хвала. А нет, то хотя бы похоронят свободным человеком.

— Что, дядюшка, — в тон отозвался Арей.

Спекшиеся мышцы не слушались. И хорошо бы никого не встретить по пути, а то ж сочинят... придумают, переврут...

...и донесут куда надобно, и куда не следует вовсе.

— Огонь — стихия непростая. — Кирей шел медленно.

А ведь и ночь он выбрал непростую.

И место неслучайное.

И значит, не будет встреч и свидетелей. Хорошо...

— Взять ты силу взял, но это полдела, если не треть. Попробуй теперь удержать. Приручить...

Огонь загудел, соглашаясь, что он, конечно, готов терпеть слабую телесную оболочку, в

которую его заточили — или наивно полагали, будто заточили, — но до поры до времени. Эту клетку ничего не стоит разрушить.

— И если позволишь совет...

— А не позволю?

Кирей плечами пожал: мол, мое дело сказать, а твое — думать, надо ли тебе сказанное.

— Держи себя в руках.

Пламя свернулось в животе, теперь Арей ощущал его огромным змеем с огненной шкурой. О таком мама сказки рассказывала. О чешуе золотой, о следах самоцветных, о логове под корнями старого дуба, о крыльях грозových, из меди созданных. Взмахнет змей крыльями и полетит над степью звон-гром.

Поднимется...

— Вот об этом и говорю. — Кирей убрал руку и хлопком сбил с плеча огненный язык. — Тебе нельзя отвлекаться. Ни на что. Ни на кого. Стоит дать слабину, и огонь тебя сожрет.

Призрак змея рассыпался золотой пылью.

А пламя выплеснулось в кровь неожиданною яростью: да как смеет он, родственничек непрошенный, забытый и потерянный, указывать Арею, как быть? Небось без его советов Арей жил.

И жить будет.

— И хорошо, если только тебя.

Пламя Кирей лишь смахнул. И Арей опомнился. Да что это с ним? Откуда взялся гнев этот? И желание немедленно изничтожить родича, дерзнувшего обратиться...

...дерзнувшего?

...обратиться?

Не его, не Ареевы это мысли...

...живое пламя остывало.

Отползало.

Вновь обращалось в змея, и золотая чешуя манила близостью. Зря ли матушка сказывала, что нет в мире ничего, этой чешуи прочней. Не пробьют ее ни стрелы, ни копыя, увязнут топоры боевые...

...нельзя слушать.

Нельзя поддаваться.

...оттого и не одолеть змея людям. И Арей, если захочет, может змею уподобиться. Достаточно пожелать... чего он хотел?

Свободы?

Арей уже свободен. Мести? Его слово, и вспыхнет мачехино подворье костром погребальным. А следом полыхнут и прочие владения... и братец единокровный...

...нет!

Арей заткнул уши.

— Вот так, хорошо. Дыши давай, — голос Кирея пробился сквозь медовую песнь пламени, где Арею обещано было все, что лишь пожелает.

Золото?

Будет.

Власть?

Да хоть над всем миром.

Женщина... любая захочет... не любая. Единственная, которая нужна, не захочет... не с убийцей, не с палачом... не с тварью, в которую он обернется, позволив себе малость.

— Ты справишься, племянничек. — Кирей вновь подал руку, и Арей понял, что стоит на коленях.

На выжженной земле.

На расплавленной...

Это он?

А кто еще? А если бы...

— Теперь понимаешь, что я имел в виду? — Кирей поднял рывком. — Ты должен держать в узде свои мысли. Желания. Все. Каждое слово, которое произнесено. Или не произнесено... пламя будет искать слабину. И если найдет...

...понесется по-над столицею медная гроза, сотворенная безумцем. И сумеют ли справиться с нею магики?

— И как... долго?

— Месяц. Два. Десять... за сколько справишься. Это же твой огонь. Тебе с ним и сражаться.

Он не лгал, дорогой заклятый родич, который мог бы и до того упредить, но не стал. Случайно ли? Мнилось Арею, что не было ничего случайного в произошедшем.

— А ты? Сколько ушло у тебя?

— Семь дней, — сказал Кирей, но тут же добавил: — И семь мгновений при первом порыве. И за эти семь мгновений я едва не убил их всех...

— Почему не убил?

И это было важно знать, особенно теперь, когда змей нашептывал, что не стоит слушать того, кто добровольно отрекся от силы, спеленал ее, скрутил да в клетку упрятал.

— Понял, что другой семьи у меня не будет, — тихо ответил Кирей. — И ты поймешь... не про семью. Другое. Когда поймешь, то и с пламенем справишься... только постарайся уж не задерживаться. Оно чем дальше, тем хуже...

— А если...

— Если не справишься, я сам тебе шею сверну.

— Спасибо, дядюшка.

— Да не за что, племянничек...

Небо отряхнулось от красных сполохов, громыхнуло тяжело, грозя скорою бурей, а потом, поторапливая безумцев, которым вздумалось гулять в неурочный час, сыпануло ледяным крошевом.

Начинался последний зимний месяц.

В народе его звали волчьим.

Глава 2, в которой ведутся беседы крамольные

— Тужься, Зося, тужься! — Еська шипел на самое ухо, да так громко, что в ухе от евонного шипения звон появлялся, да хитрый, с переливами.

Отвлекало.

А я тужилася... да так тужилася, что, будь непрадна, прям на поле и родила б.

И родила.

Огненный шарик поднялся над ладонью, завис в воздухе на мгновение, а опосля в грязюку и плюхнулся с гневливым шипением. Куда там Еське!

Тот только вздохнул и отошел от яминки...

— Зося, не сочти за грубость, но ты неисправима...

А я ему с самого начала говорила, что не будет с этой затее толку. Да разве ж Еську переупрямишь? Он толстолобый, аккурат что бабка моя, оттого и нашли они общего языка, как это ноне говаривать принято.

...шел первый месяц весны.

Марец-слезогон. Правда, тучочки его именовали на свой лад — мартецом, но как ни зови, а поганой евонной природы не исправишь.

Небо дождало, а когда не дождало, то взбивало рыхлые перины сизых туч, и рябенькое, слабенькое солнце тонуло в них. Оттого и дни были мало что коротки, так еще и смурны на диво. Истаивал снег, да некрасиво, проплешинами, сквозь которые проглядывала гнилая трава. Земля хлюпала, давилась вешними водами. И разумом-то разумею, что сие есть, как молвится, исконный порядок вещей, установленный от самого сотворения мира, а на душеньке муторно.

Сверху капает.

Снизу хлюпает. Сапожки мои пусть и хороши, да все одно промокли. А с ними и сама я до исподнего, ни одной, самой махонькой, ниточки сухой не осталось.

Домой бы.

Если не в бабкины хоромы, которые она за зиму обжила на свой лад, так хотя б в комнатку свою общежитиевскую. К самовару да плюшкам, к варенью малиновому, медам и прочим сладостям, с которыми и слезогон переживать легче.

— Ты не стараешься. — Еська шмыгнул носом.

Ага... засопливел, стало быть.

Не буду жалеть.

Сам сюда притащил, без принуждения, мол, тренироваться мне надобно. Оно, конечно, надобно, только вот... душенькою чую, что не мое это дело — огневики лепить.

— Зослава. — Еська вытер нос рукавом и огляделся, убеждаясь, что полигон пуст. А каковым ему быть? Небось в такую погоду хороший некромант и покойника из дому не выгонит.

Серо.

Уныло.

Вода льется, земля, пробуждаясь, вздыхает, спешит затянуть оспины, моими огневиками оставленные, грязюкой. А завтрешним утречком, надо думать, погонит нас Аристарх Полуэктович по энтому полигону, да по яминам, приговаривая, что настоящему боевику погода не помеха.

Может, оно и так, да только...

— Не слушаешь, — Еська ткнул пальцем в бок, да так, что я ажно подскочила. — В этом твоя проблема, Зося!

— Больно!

Вот дурень, у меня ж бока — не перина, чтоб пальцами тыкать. Да еще и жесткими, будто каменными. Синец теперь будет. Да и ладно, я ныне к ним привычная, так ведь и насквозь проткнуть способный.

— Зато за дело. — Еськин длинный нос дернулся. — Послушай, ты, кажется, не совсем верно оцениваешь обстановку...

А чего ее оценивать?

Вона поле-полюшко, от края до края, где изрытое, где пожженное, а где на нем лес колосится, да густенько, что пшеница на черноземе. И аккурат посеред одного поля мы с Еською, не то березы две одинокие, не то дубы, как сие любит Аристарх Полуэктович говаривать. Вона виднеются в низинке, что Акадэмия наша, что общежитие...

С самоваром.

Варением.

В животе забурчало. Живот оный скоренько припомнил, что Еськиными стараниями без ужина оставлен был. А обед, тот уж давнехонько минул.

— Тебя хотят отчислить. — Еська, бурчание заслышав, только рученькою махнул и сел на мокрый камень.

Вот новость. Меня с первого самого денечка отчислить хотят, да все никак оно не выходит. Учуся. Грызу, стало быть, науки всяческие. Другое дело, что науки этие — не калачи, и от иных организме моей польза сомнительная.

— Да, зимой тебе повезло... — Еська сунул руки в подмышки. Ныне он, рыжий и мокрый, и близехонько на царевича похожий не был. Кафтан красный вымок. Порты полосатые грязюкою покрылися, и плотненько, а сапоги евонные, за между прочим, из турьей шкуры стаченные, и вовсе вид всякий утратили. — Отнеслись с... пониманием, скажем так.

Ага, мне энтое их понимание по сей день в дурных снах видится.

Как вспомню сессию тую, которую едино милостью Божиной и царскою, сдала. Высокая комиссия, собранная, чтобы нас экзаменовать, в глаза-то улыбалася, да только улыбочка та с холодочком была. А Люциана Береславовна так и вовсе кривилася, не скрывая, до чего ей моя персоналия неприятственна. И вопросы задавала, один другого хитрей.

Я, отвечаючи, прям испрела вся.

Полпуда весу скинула.

И язык едва ль не до дыр истерла. Как вышла с экзаменационной залы — сама того не помню. Только что стояла в зале белом, ледяном, а потом раз — и за дверями резными.

С одного боку Кирей подпирает.

С другого — Еська. Лойко в руки флягу сует, мол, хлебани, Зославушка, чаечку... я, дурища, и хлебанула... кто ж знал, что чаечек в тую флягу если и плеснули, то на самое доньшко.

Ох и повело... закружило... где ж это видано, чтоб девке честной первача совали? А этот гад еще и оправдывается, мол, хотел как лучше, и не первач сие, а едино настойка, на травах семнадцати настоенная, словом крепким заговоренная.

Я ее тож, как отдышалась, заговорила.

Словом.

Крепким.

После-то стыдно было, поелику не пристало девке этаких слов знать, да тогда...

...тогда не наука в голове моей была. И верно Еська подметил, что и ныне не об том я думаю.

Села я рядышком.

Дурное сие дело — на камнях сидеть, да только все лучше, чем грязь. Так и сидели. Пялилися под ноги.

— Тогда теория была. Исключительно. — Еська первым заговорил. И из кармана монетку достал, медную, крохотную, о шестех гранях и дырочке. У кого и когда стянул? Сие мне не ведомо. Нет, может статья, что монету он честным путем выменял аль на рынке сама в руки упала, да вот сам давече каялся, что натуру евонную горбатую и могилую не исправить.

И сидит, монетку с пальца на палец перебрасывает.

Быстренько.

Ловко.

Пальцы-то у него даром что порченые, а все одно ловки, едва ль узлами не вяжутся. А может, и вяжутся, кто знает... и дальше сидим. Он с монеткою забавляется, я... я думаю.

Я ж не дура, как иные полагают.

Просто... муторно.

И не месяц-слезогон тому виною, хотя и недаром так прозванный. Когда серо да сыро, то и со спокойным сердцем жизнь не в радость, а ежель на сердце этом раздрай, то и...

Надобно, верно, с самого начала сказывать, да только где тое начало?

На болотах ли осталось?

В лесах заклятых, куда нас Фрол Аксютрович вывозил для следственного, как сказано было, эксперименту. Чтоб показывали мы, где стояли да чего творили. Да только леса даром что вековые и дремотные, но прибралися. Снегом свежим раны затянули, кровушку пролитую присыпали. Мертвяков, тех еще раньше в некромантический корпус доставили, да, мнится, толку с того было мало. Лихие люди. Разбойные.

Так сказано было.

И нам велено оного слова держаться, а буде кто выпрашивать, так о том сообщить немедля.

Нет, не в лесах дело. Не в болоте, таком смирнехоньком да нарядном. Разлеглося оно, укрылося снежной рухлядью. И сияет та на солнышке камнями самоцветными, глаза слепит. Поди пойми, тут я стояла аль на два шажочка в сторону. И если в сторону, то в какую?

И чего творил Лойко.

И чего говорил Ильюшка... и сам ли Арей навстречу подгорной твари шагнул, аль велено ему было... и отчего не побоялся... и мы...

Вопросы из Фрола Аксютовича сыпалися, что горох из дрального мешка. Навроде и простые, да только с каждым все муторней становилося. Будто бы энто мы виноватые. А в чем?

В том, что болотом пошли?

Иль в том, что тварь одолели дюже редкую, не испросивши наперед, кто и какою волшбой ея к жизни поднял? А может, и вовсе в том, что живые. Небось с мертвыми — оно проще. Сложил костер погребальный. Молвил слово доброе, про то, что человек ныне в ирий

восходит достойный, и нехай Божиня примет душеньку его да по собственному почину и по заслугам земным соткет ей новое тело...

Аль иное совсем. Что сгинули в болотах отступники и лиходеи, злое измыслившие супротив царствия Росского. Мертвые-то сраму не имут.

А следом и головы б покаталися, и чуется, была б серед них первую — Рязенского урядника. Оттого и ходил Лойко сам не свой, смурен да мрачен. Ильюшка и вовсе черен с лица сделался. Небось евонный батяка давно уж на плахе душеньку отдал, да окромя его были и сестры малолетние. Девки?

Пушай и девки.

Но случись чего — не простые, но крови царской. Ее-то, может, и капля, да с иных капель и реки родятся. Нет, не пощадят малолетних. Не плахою, так болезнею неизведанной к Божине спровадят.

О том я думала, стоячи посеред снегов белых.

Слушала, как ветер гудит над головою, как вздыхают древние сосны, об своем припоминаючи. И звенел в ушах смех сгинувшей чародейки. Что, Зослава, думала, дойдешь и все-то закончится?

Нет.

Царева награда — она что снег вешний. Ночью выпадет, да к утру истает, и будешь хлебать грязюку полною ложкой...

Обошлось.

Добрались мы тогда до самого клятого острова, каковой Фрол Аксютрович вдоль да поперек излазил, разве что носом землю не рыл. Но без толку. Остров как остров. Обыкновенный. Только деревья в безветрие все одно качаются, трещат да вздыхают, будто сетуют, до чего глупы люди.

Тут если и творилася волшебство, то иного, не человеческого свойства.

И не человеческому разуму до сути ее добираться.

...как бы там ни было, просидели мы на тех болотах две седмицы, и с каждым днем делался Фрол Аксютрович все мрачней.

А перед самым отъездом так он молвил, на нас не гляючи:

— Осторожней будьте...

— Будем, — огрызнулся Лойко, воротник шубы волчьей поднимая. Бледен он и худ сделался, а оттого нехорош. Поблекло золото волос, и сам за те две седмицы постарел, будто тянул кто из него силы.

— Ментальные слепки, урядников сын, не просто так снимали. Находились те, кто говорил, что лишнее это. Нечего чародеев к делам царевым подпускать, — говорил сие Фрол Аксютрович, на болота гляючи. И голос его был ровен да тих. — Что уж больно случай удобный...

Смолк.

И тут-то я уразумела, про какой случай он речь ведет.

Про родню Лойкову, про сестер Ильюшкиных...

— Что ж не воспользовались? — Лойко ослабил дурною шальной улыбочкой.

— Не дури. — Фрол Аксютрович оплеухами не раздаривался, но лишь глянул так, что улыбочка сама собою сошла. — И подумай, многим ли по нраву, что чародеи в Росском царстве наособицу стоят? Свой закон у Акадэмии. Своя правда. И суд свой. И правила... будто царство в царстве.

Сам усмехнулся, да печально так.

— Издревле мы царям присягали. И служили им... а как не будет царя?

Спросил и замолчал.

Мол, для того головы Божиной милостью и дадены.

Думала я, чего уж тут. Аж едва на мысли вся не изошла, пока телегою от заставы до дороги тряслася. А чего еще делать?

Сверху — снежит.

По земле — выюжит. Лошаденка, какую староста дал — а выбрал, ирод, что похужей, оно и понятно, царские гарантии гарантиями, но хозяйство на них не выстроишь, — бредет, нога за ногу цепляет. Чай, не рысак, чтоб лететь по бездорожью. Слева Лойко сопит, того и гляди лопнет, не то от злости, которой выхода нету, не то от обиды, не то от мыслей, каковые евонной голове тоже непривычные. Справа Ильюшка пальчиком оглоблю ковыряет, задуменный-задуменный, вперился взглядом в широкую Фрола Аксютовича спину и мозолит, мозолит... как до дыр не измозолил — сама не знаю.

Фрол Аксютович если и чуял чего, то ни словечком не обмолвился.

Знай песенку насвистывает, лошаденку погоняет...

Одного разочку только, когда за Серпухами завыла грозно волчья стая, очнулся будто бы. Голову поднял, повел носом, принимаюхаясь — а пахло дымком, мехами лежалыми да табаком-самосадам, — и кулаком погрозил будто бы. Волки сразу и смолкли.

Нет, ехали мы неспешно.

Цельную седмицу добирались. Хватило, чтоб и в моей голове, которая, стало быть, не только косу носить сотворена, всякого забродило.

Верно сказал.

Чародеи царю клянутся кровью своею и жизнью. А бояре, стало быть, не указ им. Многим ли сие не по нраву? Ох, мыслю, каждому второму, ежели не каждому первому. Магик — это сила, да такая, супротив которой войско не соберешь... что некроманту войско? Дунет, плюнет, скажет слово заветное, и разлетится по войску черная лихоманка. Аль люди живые неживыми станут.

Аль еще чего...

Стихийники и того паче, про боевиков и вспоминать нечего... нет, пока стоит за тронном царским Акадэмия, то и бунта бунтовать бояре не посмеют. Да и как забузишь? Чародейскую силу ни стеною крепостной, ни рвом не остановишь. Закроется ров. Осыплется стена. А то и хуже, разверзнется земля тысячью ртов да и проглотит усадьбу боярскую вместе со всеми людьми. Оттого и сидят бояре тихо, плетут заговоры паучьи, а в открытую ежели и держат войско, то малое...

Тяжко.

Мысли скрипели, что колеса тележные. И не только у меня.

Первою ж ночью заговорили. А ночевали мы в Горбуньках, деревушке махонькой, чтоб не сказать, вовсе глухой, одичалой. Десяток дворов протянулись вдоль кривого речного бережка. И дома-то бедные, один другого ниже. Иные и вовсе без окон, с крышами, дранкою крытыми. Стены зеленым мхом поросшие, глиняными заплатами латанные. Да и сами домишки — как двоим развернуться.

Фролу Аксютовичу, само собой, в старостиной, приличной избе местечко отыскалось. А нас, как студиозусов, стало быть, в сараину определили. Сарайна эта из досок лядащих строена была, зыркаста, что зубы старческие, и ветрами всеми продуваема. Сено в ней и то

корочкой ледяною покрылось. Ну да грех жалиться, живы — и уже радость. Ежель закопаться поглубже да в одеяла закрутиться, оно и ладно будет.

А лошаденку жаль, как бы не сколела до утра, мнится мне, что иной нам туточки не добыть.

Бояре мои, ежель чего и думали про Горбуньковское гостеприимство, то вслух ни словечком не обмолвились. И девку, которая нам горшок с репою пареной и хлеба половинку вынесла, поблагодарили любезно. Оно и верно, нет беды хозяев в бедности, чего имеют, тем и делятся.

Сало-то ладное было, крепкого просолу.

Да и репа хороша уж тем, что горяча. Ели, ложки облизывали... на друг друга не глядя, будто бы вороги один одному.

Тяжко.

— Думаешь, сдадут? — у кого Лойко спрашивал, у меня ли, у Ильюшки, который в сено закопался, что твой мышак, не знаю.

Но ответил Ильюшка.

Сначала-то рученьки из стогу высунул, скрутил фигу — не фигу, так, знаку тайную, полог растягивая. Тот и встал, синий, дыркастый — умения Ильюшке все ж недоставало, — но какой был.

— Нет, — он говорил тихо и как-то обреченно. — Не выдадут. Если до сих пор, то теперь и подавно...

— Ну да...

Лойко в горшок руку сунул, остатки репы выгребая.

— А зачем тогда...

— Затем, чтоб на рожон не лезли, — это уже было сказано со злостью. — И чтоб думали, прежде чем рот разевать. Слово-то за слово... если кого-то из нас на измене зацепят, всей Акадэмии плохо будет.

Вздыхнул и куль из мехового одеяла крутить принялся.

— Он верно подметил. Боярам она поперек горла. Маги... ладно, когда из своих... это, с одной стороны, и честь великая, и сила роду, а с другой — поводок на клятве. Не пойдет маг, кровью в верности присягавший, против царя бунтовать...

— А если царя не станет?

— Тогда наследника беречь обязан.

— А если... — Лойко в сено упал, как стоял, с горшком, прижал его к груди, погладил бок корявый.

— А вот если... — Ильюшка замолчал, и правильно, не всякое слово сказано быть должно. — Тогда и появится лазейка махонькая... возьмем, к примеру, ректора...

Тут-то я и сама в сено рухнула.

Это ж про Михайло Егорыча он? Конечно... ректор-то у Акадэмии один...

— Михаил Егорович второй в тронном списке после прямого наследника. — Ильюшка говорил шепотом, да только мы с Лойко каждое словечко слышали. — А мог бы и первым быть... если б не клятва. Мне отец сказывал, что не было между ними особой любви. Всего-то год разницы. А царь-батюшка болезным уродился... таким болезным, что долго его из терема на люди не казали. Оттого слухи шли, один другого краше. Что будто бы рогатым родился, азарской крови. Другие баяли, мол, не рогатый, а кривой... третьи его падучей болезнею наделяли... он-то и рос наособицу. Учился, да... отец...

Голос дрогнул.

И жаль мне его стало.

Мой-то батька тоже помер, но не на плахе, честною смертью. И имя его ноне не запретно, и род наш, пусть и захудалый — где там Барсуковскому князьку до царского сродственника, — а все честный. Ильюшке же небось и вспомнить родителя лишний раз невместно.

А уж горевать по нему открыто...

— Отец говорил, что долго дядьку Мишу едва ль не первым на царство прочили, что все ждали, когда ж... а он не помирал, жил... и как в силу пошел, то и стало ясно, что быть царем ему по праву первородства. Очень это дядьку расстроило. И с того расстройства его и отдали в маги. Силы-то он невеликой, но отучили за два года. И клятву не с прочими принес, нет, первым же летом кровь на камень пролил, ею и животом поклялся, что не будет учинять против брата злого...

Замолчал.

А я... что я? Я ж девка звания простого. Мне этаких откровений и близко слышать неможно.

— Против клятвы дядя Миша не пойдет. Не посмеет рискнуть. А вот если не станет ни брата, ни крови его, то кто помешает ему шапку царскую стребовать? По Правде — он первый в очереди...

— И ты, — добавил Лойко, палец изо рта вытянувши.

— И я... и сестры...

Тихо стало.

Слышно, как скребется в глубине стога мышь. И потрескивает дрянная крыша.

— Давно видел?

О таком не спрашивают, да только ночь глухая, дорога дальняя, и за спиною многое осталось. Потому, верно, ответил Ильюшка:

— Давно... письма пишут. А там одно... живы и здоровы, чего и тебе желаем. Милостью царицы... прислали платочек расшитый... — он коснулся груди, где и прятал тот самый платочек, который ему дороже иных сокровищ был.

Не дала мне Божиня ни сестер, ни братьев, и потому не знаю, как бы уживались. Лаялись бы, друг друга ненавидючи, аль наоборот, душа в душу жили бы? И каково б было мне знать, что живут мои сестрицы родные в царевом тереме, навроде и в милости, а... поди, угадай, чем милость эта повернется.

— Я им то же самое пишу...

— Правильно.

— Да... если магом стану, то... клятва, с одной стороны, ограничит. А с другой, быть может, и отпустят...

Вновь тихо стало.

А я... я сидела, грызла хлебную горбушку и думала, что свезло мне родиться в Барсуках, а не в столицах. И не иметь царской родни. И вовсе жизнь моя, ежесть оглянуться, была проста да понятна. Чем сие не милость Божинина?

Думать как оно думается.

Говорить вольно.

И делать, как велит душа своя, а не высокая политика.

— Дядька... все ж не думаю, что ему трон надобен. У него-то ни жены, ни детей... и

навряд ли будут.

— Тебе откуда известно?

Ильюшка плечом дернул, отчего меховой куль развернулся.

— Какая разница... иногда лучше не знать, чем знать. Просто... поверь, незачем ему на трон лезть. Не усидит долго. Да и на кой, когда у него собственный имеется? Нет, он за Акадэмию стоять станет до последнего. Понимает, что без царя не удержится. А вот другие... другие — дело другое. Им ярмо клятвы с шеи бы снять, волю вольную получить...

На меня глянул, усмехнулся.

— Это вон Зослава у нас в людей верит, в то, что порядочные они да добрые...

Прозвучало сие нехорошо.

Ну да, верю я в людей. И в то, что добрых промеж них больше, чем злых. И в то, что каждому Божиня воздаст по делам его, коль не на этом свете, то на ином. А коль выпадает ей подмогчи, так в том, может, и промысел высший имеется, как наш жрец сказывал. Он-то, чай, человек ученый, поживший немало... да только ж я не о том. Вера верую, а слепота слепотою.

Добрые магики?

Может, и добры которые, но только. Магик, он сильнее любого человека. И годочков ему Божиней больше отмеряно. Но не всякое прожитое в мудрость идет, иное — лишь в седину.

И понимаю я, об чем Ильюшка поведать желает.

Стоит над магиками Акадэмия с законом ейным, блюсти который Михайло Егорович поставлен. А не станет его, сгинет клятва, так кто ж закона держаться станет? Нет, мнится, что Архип Полуэктович станет. И Фрол Аксютрович. И тот некромантус, который нам личины менял. И иные сыщутся, которым сила заместо совести не стала. Да... сколько будет прочих? Тех, что сочтут, что где сила, там и право, а с правом — и власть.

Что будет?

— Куда ни плюнь, всюду дрянь... — Лойко под ноги сплюнул да плевков сапогом растер. — Не понимаю...

— Пока Акадэмия цела, она целой и останется. — Ильюшка поднял одеяло по самый нос. — Это дядька распрекрасно осознает. Как и то, что цельность эта мешает многим, что снаружи, что изнутри. Стоит дать слабину, и все посыплется... потому и не тронули нас. И не тронут. Не посмеют...

— Пока.

— Пока, — согласился Ильюшка и вновь на меня поглядел, да так, с насмешечкой. — Но это не значит, что не станут гадить... главное, держаться будут в рамках закона. А значит, есть шансы...

...ох и правый он был. И правоту эту я в скорости на собственной шкуре всецело прочуяла.

Нет, в глаза-то никто и словечка не сказал. И навроде оно все прежним чередом шло.

Учеба.

Лекции.

Дорожка клятая, по которой нас Архип Полуэктович гонял, а мы гонялися со всем прилежанием.

Кирей...

...Арей.

Подумалось, и в грудях разом защемило, а на глаза слезы навернулись, отчего глаза энти

я спешно рукавом замерзшим потерла. Ежель чего, скажу, что будто бы снегу насыпало. Со снегу плакать не стыдно, а по парню...

Дуры мы, девки.

Ох и дуры...

Глава 3, где речь идет о делах сердешных

Носом я таки шмыгнула, и Еська со мною, но, надо полагать, не от сердешных горестей — если таковые и случались ноне, то я об том не ведала, — а от обыкновенных соплей.

— Так и будешь сидеть? — спросил он, мизинцем ноздрю заткнувши. Невместно сие для царевича. А Еська, что бы там ни говорили, все ж серед царевичей жил и, мыслею, жить станет.

— Так и буду.

Я уставилася на руки свои неумелые.

С виду-то обыкновенные.

Как у всех.

Ладошка круглая, белая, вся тоненькими ниточками изрезана. Слыхала, что для иных людей они навроде письма тайного, по которому всю жизнь прочесть можно, и прошлое, и будущее.

Не ведаю.

Бабка моя вон, хоть и балуется с картами да гаданиями, а и то признает, что будущее каждый своими руками прядет...

Пальцы... пять. Как оно и положено человеку обыкновенному. Может, ежели б шесть, то и ловчей были б? Я ажно призадумалась, помог бы мне шестой палец в науке... не, я и с пятерыми справиться не способная. А мыслила-то... вот бисер они ловко ловят. И с шитьем управляют. И с иною хитрою женскою работой, которая мужским рукам не по силе... а вот поди ж ты... неповоротливые.

Неразработанные.

Люциана Береславовна о том каждый практикум напоминать изволит, и этак с холодочком, мол, теперь-то ты уразумела, девка бестолковая, куда подалася?

У самой-то Люцианы Береславовны ручки холеные, пальчики тонюсенькие, как только не ломаются от колец да камней. И не помехою ей перстни. Знаки нужные складывают верно.

И быстро — не разглядишь.

Нет, иные-то умудряются не то что разглядеть, но и повторить, а я вот вошкаюся, вошкаюся, да без толку...

— По-моему, проблема у тебя не в руках. — Еська наклонился и по лбу моему постучал. Звук вышел на диво гулкий, громкий. — А вот тут.

Лоб я пощупала.

Мокрый. Холодный. И волосина к нему приклеилася...

— Не о том ты думаешь. И не стараешься. А я, между прочим, всю задницу себе отморозил. И кому я такой надобен буду? — В Еськином голосе прорезались плаксивые нотки. Этак побирушки на паперти медяшечку клянчат, о долюшке горькой своей расповедывая. — Сиротинушка я горькая... матушка бросила, тятки не ведаю... лицом рябенький, спиной кривенький...

— Прекрати!

Я отвесила Еське затрещину и после только спохватилася, что негоже на царева человека руку вздывать, это ж прямая измена, куда там всем разговорам крамольным.

Но Еська от затрещины увернулся ловко.

— Это ты прекрати! Расплылась... клуша деревенская!

И носочком комок грязи пнул, да так, что разлетелся он брызгами.

— Только и способна, что вздыхать и охать... подумаешь, недоазарин на тебя не глядит!

Так второй имеется, полновесный, так сказать. Краше прежнего. А если рога мешают, так скажи, братья их быстренько свернут со всею радостью...

— Ты не понимаешь, — обида сдавила горло незримой рукою.

Я ж ничего не сделала!

Все было... было как было... и не придумала я того разговору, как не придумала и прочего, чего случилось зимою... потому и понять не способная, с чего вдруг переменялся Арей.

Был один.

Стал другой. Холодный. Чужой. Слова лишнего не вытянешь, а которое вытянешь — то лучше б молчал. Цедит, будто словеса эти ему дороже золота.

Все, мол, хорошо.

Сила возвернулась. И сторицею. И оттого занимается с Ареем сам Фрол Аксютрович да на дальнем полигоне. Еще и Кирея третьим берут. Чего делают? Того мне не ведомо... я и не лезла бы, поелику негоже девке в мужские дела нос совать.

Да только...

Был Арей и не стало.

Будто бы забыл про меня. Или, наоборот, не забыл, а дальнею дорогою обходит, когда ж случится встретить, то холодеет весь прямо, подбирается и спешит уйти.

Спросила бы прямо, но... боюсь ответ услышать.

Оно ж бывает. Горело сердце и перегорело. А насильно милым не будешь.

— Не понимаю. — Еська кинул в меня комок грязи. — Вот точно не понимаю! Ты выжила, Зося! И не один, не два раза выжила! И дома... и в усадьбе той... на острове. При встрече с подгорной тварью... и потом тоже... подумай. Ты живая! Здесь и сейчас.

Ну да, живая.

И знаю, что надо порадоваться, что не иначе как Божиня за плечом моим стояла, да только нету радости. Пустота одна, будто бы это не Арей там, на поле, выгорел, а я...

— Хорошо... не хочешь так, будем иначе. — Второй ком ударился в плечо. — Ты, помнится, у нас берендеевой крови, а берендеи, слышал, людей чуют. И значит, будь твой недоазарин скотиной...

— Он не скотина!

— Ага, редкого благородства человек, — фыркнул Еська, вновь в меня грязюкою запуская. Да что ж это такое! Я комок стряхнула. — Задурил девке голову, а теперь ходит, нос воротит, будто бы и знать ее не знает...

— Он...

От грязи я отмахнулась и встала.

— Что? А может, нарочно? Кирея подразнить хотел...

Нет, вот чего ему спокойно не сидится-то?

— ...они ж друг друга любят, что два цепных кобеля... а ты, стало быть...

Следующий ком грязи разлетелся перед самым моим носом.

— ...дурью маешься. Вот. — Еська отступил, пропуская огненный шарик, каковой, в отличие от прочих, мною сотворенных, и не подумал в грязюку плюхаться. Он вился осою, то подлетая ближе, к самому Еськиному носу, то поднимаясь над головою... — А говорила, что

не получается!

Еська произнес сие и руку выставил.

Зря эт он.

Шарик загудел. Затрещал, а после как рассыпался искрами...

— Твою ж...

Тихо было на поле.

Безлюдно.

А жаль, Еська так матерился — соловьи заслушались бы. А мне совестно сделалось... но я ж не просила его за огневика рукою хвататься! И вовсе... сам виноватый!

Но все одно совестно.

— Больно?

Еська глянул исподлобья и ничего не ответил. Руку рукою обнял, баюкает. А мне... что мне сказать-то?

— Вышло, да?

Он тяжело вздохнул.

— Вот за что мне этакое мучение, Зослава, а? Чем я Божиню провинил...

— Сам полез.

— Я ж расшевелить тебя хотел... а еще, чтобы ты голову наконец включила. И думать начала.

— Про экзаменации?

— И про них тоже. — Еська руку протянул. — На вот, лечи теперь... но экзаменации, чую, проблема третья. Пока в твоей голове сердечные разлады, наукам там места не хватит. Поэтому начнем...

Кожа на руке покраснела, пошла мелкими волдырями.

— Ты сама его выбрала, так?

Это он про Арея? От же ж... и тепериче не отцепится, а я и сказать ничего не скажу, потому как совесть мучит зело. Ожоги, они страсть до чего болючие. И лечить-то я умею, да больше мазями, нежели магией. И значит, ходить Еське с калечною рукою деньков пять.

— И значит, увидела в нем чего-то этакого... помимо смазливой рожи.

— Еська!

— Увидела, стало быть. Другая, которая поразумней, небось, старшего взял б. А что, он хоть и рогастенький, зато царевич. И при деньгах. На золоте бы ела...

— ...на серебре бы спала.

— Вот-вот. А ты от Кирейки нашего нос воротишь. Нехорош, стало быть, наследничек земель азарских...

Вот как у него выходит, что навроде и со смехом говорит, с издевочкою, а все одно всерьез.

— Хорош.

— Но не лучше Арейки?

Я вздохнула. Вот как ему объяснить? Не лучше. Не хуже. Иной он просто. Не по моей мерке скроенный. Выйди за такого и... да, жила б богато, боярынею, об чем мне бабка в каждом письмеце зудит, что комариха престарелая. Мол, где это видано, чтоб разумный человек золотой на медяшку сменял да еще и радовался... мол, Арей-то славный парень, и бабке он по сердцу, и верит она, что любит, да только одною любовью сытый не будешь.

Жить нам надобно.

И хорошо б своим подворьем...

...а хоть бы и тем, что царицею дарено. Но и его держать — денег уходит. Бабка-то о тратах писывала подробне, по чем в столицах куры битые иль живые, зерно да мука, шерсть, пряжа. И все причитала, что с такими ценами невместными того и гляди по миру пойдём.

...хуже стало, когда с рынку ей помимо купленного сплетни носить стали. Она-то и не верит навроде, а... знаю такое, десятеро скажут, одиннадцатый и призадумается.

Она и призадумалась.

...как жить, когда в столицах житья не дадут? Ехать? А куда? К степям азарским? К морю? К горам? Куда ни поеду, а все далече... и бабке за мною будет ли дорога? Годы не те, и Станьку как бросить?

Хозяйствие, к которому только-только привыкла?

Кирей-то, поди, никуда не денется, иль в одной столице осядет, иль в другую нас заберет вместе с домом, подворьем и всеми курами, купленными на той седмице...

Понимала я бабкины страхи.

И совестно делалось, что не могу сделать так, чтоб ей хорошо было. Кирей... не было у меня братьев, а вот же ж появился, пусть и нелюдской крови, пусть и злость на него порой такая берет, что самолично прибила б, да только... свой он.

Близкий.

И не могу забыть того, что на острове видела.

Велимиры.

И его, огнем погребальным ставшего. И знаю, что тайна сие, которую Кирей никому, небось и матушке своей разлюбимой, не доверит, и молчу... и терплю...

...и Еське лишь вздыхаю.

— Значит, выбрать ты выбрала. Так?

Я кивнула.

Просто у него выходит... выбрала. А ведь и вправду выбрала. И скажи теперь Арей, что знать меня не желает...

...не скажет.

Откудова мне это ведомо? Сама не знаю. Просто чую, что не скажет.

— А если так, то примем, как говорит Люциана Береславовна, за аксиому, что сволочью конченной он быть не может. — Еська руку сунул. — Лечи давай, дева-воительница...

— Лечу, — буркнула я.

Признаться, лекарские чары мне давались проще огненных, то ли оттого, что объясняла Марьяна Ивановна подробно да толково, то ли оттого, что целительство бабьей натуре ближе.

Но с ожогами все одно сладить не пробовала.

— А если так, то переменялся Арей не к тебе... скажем так, не к тебе одной... вообще странным стал, признаю. — Здоровою рукой Еська поскреб переносицу. — Но причина тому — не ты. Думаю, дело в том обряде, который ему силу вернул.

— С чего...

— Думай, Зося! Без силы он одним человеком был. С силой — другим стал... и иных событий, которые могли бы перемены повлечь, я, уж извини, не наблюдаю.

— Кирей...

— Правды тебе не скажет. погоди! — Еська ухватил меня за руку. — Не лезь. Если молчат, то на то своя причина имеется. И что ни ты, ни я ее не знаем, так, может, им с того и

легче...

А мне?

Кирей... каждый день заглядывает... женишок, чтоб его... любезный... орешки медовые, пряники сахарные, печатные... словеса разлюбезные... а про важное...

— Злишься — это хорошо... злая баба лучше страдающей.

Я ничегошеньки не сказала.

— Зослава. — Еська вновь сделался серьезным настолько, насколько сие ему было свойственно. — Ты ударила в страдания и позволила убедить себя, что ни на что не способна. А им только того и надобно. Матушке ты симпатична, не скрою. Но вмешиваться она не станет. У нее и без того проблем хватает... царь...

...а ведь царя батюшкой он не именует. А царицу вот... и искренне, это я чувю. Выходит, она для них и вправду матерью стала... только мне-то с того что?

Ничего.

Не надобно еще и туда носу совать, ибо безносой девке замуж выйти ох как тяжело.

— ...ему уже недолго осталось. Он на одном упрямстве держится. А насколько еще его хватит... даст Божиня, до осени сумеет. А нет... летом все решится, Зослава.

Сказал и на ладонь свою дунул.

— Вот, и все у тебя выходит, когда делаешь, а не думаешь, как бы половчей сделать...

Я и сама подивилась.

И вправду ладонь чистая, розовая, ни следочка на ней не осталось, кожа будто бы белей прежнего стала. Неужто и вправду я?

— Пойми, им нужно кого-то выбить...

— Меня?

— А хоть бы и тебя. Тебя ведь Михаил Егорович посватал. А не справишься, значит, ошибся он. Если раз ошибся, то и другой. Матушка к тебе благоволит? Тоже ошибалась... а царицам ошибки не прощают...

Я скрутила пальцы, как оно нам Люциана Береславовна показывала. И негнуткие, нехорошие, с трудом они в правильную фигуру связались.

Тепериче надо было силою наполнить.

И отпустить.

— ...хуже другое. Если тебя отчислят из студюзусов, то и защиты ты лишишься.

Сила текла тяжело, не ручейком, как должно, скорей уж киселем переваренным, с комками. И комки оные застревали, мешались.

Нет, не так.

— ...многие рады будут.

И мыслится, среди особенно радых станет батюшка Горданы, а с ним и боярыня Ксения Микитична...

— Судить тебя не за что. Пока не за что, но дай срок и... — Еська хлопнул по ладони. — Сосредоточься. Ты обязана сдать практику. И ты сдашь ее! Даже если для этого нам полигон обжить придется...

...нет уж.

Не хочу полигону обживать.

Неуютно тутоки. И снежит... вот же месяц-слезогон! Удружил.

— Но лучше уж ты постарайся, — добавил Еська, шморгнувши носом. — Выкинь из головы дурное и тужься, Зося... тужься...

Глава 4. О царевиче Евстигнее

Ножи входили в деревянный щит.

Мягко.

Что в масло.

Только масло щепой не брызжет, да и щит... держится, холера, но Евстя чуял — еще немного, и упадет, а то и вовсе рассыплется.

— Долго будешь маяться? — поинтересовался Лис, которому глядеть на сие было муторно. Он ходил кругами, не способный остановиться.

Сгорбился.

Голову в плечи втянул. Поводит, ловит запахи. Что чует? Что бы ни чуял, Евсте этого не понять, а потому Лис и рассказывать не станет. Если кому и обмолвится, то братцу своему.

Сколько лет, а эти двое наособицу. И не сказать, чтобы вовсе чужие — нельзя остаться чужим, когда живешь с человеком бок о бок, день за днем, когда видишь, как он ест, как он спит...

— Если скучно, иди себе, — сказал Евстя, отправляя последний из десятки.

Это прочим казалось, что ножи у него одинаковые.

Разные.

Как люди.

Первый номер тяжеловат. И рукоять его поистерлась, но в руку ложится, во всяком случае Евстину. Второй вот при броске вправо норовит уйти, на волос всего, однако, не зная этой его особенности, в цель не попадешь.

Третий...

— Нельзя. — Елисей упрямо мотнул головой и присел на корточки.

Уперся растопыренными пальцами в землю да так и застыл. Ни живой, ни мертвый. Глаза полуприкрыты. Голова опущена. Под тонкою рубахой обрисовывается горбатая спина. Этак и вправду перекинется.

...а четвертый, будто противореча братцу, влево уходит. У пятого на лезвии три зазубрины, и пусть Евстя пытался от них избавиться, выглаживал сталь точильным камнем, но зазубрины, что шрамы старые, вновь и вновь появлялись.

Может, и есть шрамы.

— Иди. Что тут со мной станется?

Евстя подошел к щиту.

И замер.

Чужой человек разглядывал его ножи. Пристально так разглядывал. С интересом. Этак люди на медведей глядели. И на самого Евстю раньше, до того, как имя ему подарили и другую жизнь... смотрели и прикидывали, сумеет ли тощий паренек побороть хозяина леса?

А если не сумеет, то сколько продержится?

Один звон?

Два?

И вовсе стоит ли золотишком рисковать в этакой предивной забаве?

— Не волнуйся, он нас не увидит. — Человек поднял руку и за спиною Евстигнеевой поднялся щит. — И внимания не обратит, что ты ненадолго исчезнешь.

— Ножи не трогай. — Евстигней терпеть не мог, когда кто-то руку к его клинкам тянул.

И человек предупреждению внял.

Убрал.

Еще бы и сам убрался. Но он стоял за исцербленной стеною щита — точно развалится, если не с первого, то с шестого удара точно... шестой номер срывается с пальцев чуть раньше прочих, он всегда будто бы спешит. И воздух сечет с тонким гудением.

А у седьмого на пятке черная бусина.

Евстя умаялся, пока прикрепил. Зачем? И сам не знает, но клинку она по душе приплась. Сразу дурить перестал, подчинился Евстиной руке.

— Ты так ничего и не вспомнил? — спросил человек.

Если подумать, щит — слабая преграда, такую разность — что дыхнуть... а он не боится. И верно, магией от него тянет, не огненной и не водяною, их дух Евсте хорошо знаком. И не ветра... ветер легкий, верткий, что восьмой номер, который всяк раз усмирять перед броском надобно. И за норы этот Евстя восьмой номер недолюбивал. Думал даже сменить, но... он же ж прижился промеж прочих. И как знать, как остальные к перемене отнесутся.

— Кто ты?

Под заклятьем маскирующим гость явился.

Вот и не понять, кто перед тобой... кто угодно.

— Друг.

В это Евстя не поверил. Случалось ему встречать таких от... друзей... один принес мяса... Евстя тогда есть хотел, и так, что живот сводило с голоду... а этот с куском мяса. Прямо сочился жиром тот кусок. И жир этот на хлеба краюху падал.

А человек уговаривает, мол, жалко стало скоморошьего плясуна. И Евстя поддался б, да... Рябого принесло. Он, не разбираясь, добродеею кнутом по рукам переехал... после и Евсте досталось.

За дурость.

Мясо то Рябой собаке кинул. И заставил глядеть, как сучит она ногами, захлебываясь блевотиной.

...никто не желал рисковать золотишком. А на Евстю в тот день ставили много.

— Хотел бы я убить тебя или кого-то из них — убил бы, — сказал человек.

Возможно.

Но это не значит ничего, кроме того, что от живых он больше пользы поймееет.

— Скажи, Евстигней, ты бы хотел вернуть свою память?

— Не знаю.

Девятый номер вот предсказуем. Он идеален во всем.

— Неужели не хотелось бы понять, кем ты был?

— Не знаю, — Евстя отвечал честно.

Он и вправду не знал.

Прошлое?

Прошло.

В нем всякое было. Так какой смысл нырять в омут еще глубже? Забыл так забыл... Божиня даст — вспомнит. А нет, то и надобности в той памяти нет. Что она переменит?

— Твоя память — это часть тебя. — Человек, вот упрямец, не собирался отступать. — И пока ты не вернешь ее, быть тебе половиной себя...

Да хоть четвертиною.

— Что ж... — Человек смолк. Он просто стоял, глядя, как Евстя укладывает ножи. Десятый, как обычно, заупрямился, в ножны вошел со скрипом. Воли ему... но не своеволия. И Евстя ласково погладил рукоять из оленьего рога. Сам точил.

Сам крепил.

И потому знает, что ждать от нее... и от прочих.

— Пусть себе ты безразличен, но что скажешь за остальных?

А чего за них говорить? Каждый за себя скажет.

— Ты не думал, кто из них... царем станет?

Никто.

Евстя знал это. Когда понял? Пожалуй, когда девчонку на костер спровадили. Или еще раньше? Когда погиб Ежонок, которому всего семь было... мальчонка. Ершистый. Строптивный. Уверенный, что уж он-то один ведает, как жить...

...сбежал.

...и волки пожрали.

...так сказали им, когда принесли из лесу тело, завернутое в плащ. Черный плащ с собольим воротником... матушкин... откуда он взялся?

Она уж две седмицы не навевывалась. А плащ оставила, будто бы зная наперед, что пригодится. Да и то, неужто иного какого не нашлось? Почему-то именно этот плащ, из тяжелой ткани, чуть поношенный, самую малость даже потертый, врезался в Евстину память.

И еще белая рука, из складок выпавшая.

И похороны... костер погребальный... слова, которые говорил дядька... и понимание, что за словами этими — пустота. Будут иные костры... один за другим встанут... и другие плащи, небось у царицы их много.

На каждого хватит, чтоб с головою укрыть.

— Надо же, — удивился человек. И выходит, без слов все понял. — Какой сообразительный... что ж не ушел?

— Куда?

— А хоть бы к скоморохам...

Евстя провел пальцами по рукоятям ножей. К скоморохам? Вновь дорога без конца и края? Клетки. Люди. И медведи, ошалевшие от клеток и людей.

Заборы.

Собаки на цепи.

Голод.

Нет уж, он, Евстя, не настолько свободы жаждет. Жизнь нынешняя его спокойна и сытна.

— И не боишься, что ты следующим уйдешь? — спросил человек, щепку из щита вытаскивая.

Евстя вновь плечами пожал: а чего бояться? Смерти? Он столько раз на нее глядел, что и не упомнит уже... у его смерти блеклые медвежьи глаза.

И из пасти воняет.

И...

Он видел, какдохнут задранные собаки.

Или медведи... люди, которых угораздило выйти, удаль свою показывая... нет уж, лучше яд... или проклятье там... как-то оно милосердней. И, коль вспомнить, об чем жрецы

говорят, у смерти тысяча путей. Всех не избежишь.

— Вечно живым не останешься, — ответил Евстя и в щит пальцем ткнул.

Странно...

Сколько уж они говорят? А Лис как сидел, так и сидит. И не чувствует чужака... амулет хороший? Или заклятье посложнее.

О свернутом времени Евстя только слышал.

Откуда?

Он наморщил лоб. Не помнит, стало быть, воспоминание это относится к той части Евстиной жизни, которая скрыта.

...время.

...пространство.

...закрытая секция...

Ничего конкретного. Но сожаления нет. Евстя привык уже и к этим, случайным осколкам памяти, и к своей неспособности заглянуть дальше.

— А ты фаталист...

Возможно.

— Братьев не жаль?

Жаль? Жалости они не заслуживали. Волчата... давно уже не волчата. Выросли. Заматерели? Еще нет, но недолго осталось.

Ерема... силен.

Еська ловок, что лисица...

Емелька вот наивен. И с силой своею не поладит никак. Но за ним приглядывают.

— Что ж... на, будет время, прочти. — Человек наклонился, и подумалось, что теперь его легко убить. Один удар по шее... первый номер. Он войдет между позвонками, и... — Не стоит, царевич. — Он поднялся. — Поверь, не успеешь.

Не успеет, согласился Евстя. Бить надо было, а не думать. Возможно, в другой раз. Евстя не сомневался, что встреча эта была не последней.

Он поднял сложенный вчетверо лист.

К носу поднес.

Вдохнул.

Пахло от бумаги землей и еще самую малость — цветами, но какими... Евстя закрыл глаза. С силой он ладит, земля — не огонь, она иного подхода требует... нетороплива, неповоротлива.

Но отзывчива.

Очнулась.

Потянулась теплом солнечным, сладостью ключей подземных. Развернулась.

Прочертила дорожку следов перед внутренним взором. От щита и до края поля... через край... и дальше... мимо главного корпуса... мимо общежития... к старому дому, сокрытому пеленою заклятий... пройдешь мимо его и не заметишь...

Дорожка оборвалась.

Что ж, Евстя и не сомневался, что гость незванный был из преподавателей.

Лист он развернул, скользнул взглядом по строкам, выведенным аккуратно... откуда бы ни переписывали заклятье, была эта книга древнею.

И запретной.

Магия на крови... Евстя покачал головой.

И думать нечего, из той же книги взято, в которой про подгорных тварей писано. Лист он сложил, убрал в кошель — после подумает, что с ним делать.

— Эй, — он окликнул Лиса, который от голоса Евстиного встрепенулся, вскочил, озираясь. — Идем?

Лис сонно отряхнулся.

Придремал?

Посреди бела дня?

Нет, прежде с ним этакого не случалось.

— Я... — Лис нахмурился. — Что тут...

— Ничего, — солгал Евстя.

Зачем?

Он и сам не знал. Только ножи пригладил. В следующий раз он, пожалуй, раздумывать не будет... и все же не первый... десятый. Десятый номер его никогда не подводил.

Глава 5, где речь идет исключительно о тонкостях алхимического науки

— ...доводим до стадии появления первых пузырей. — Ровный голос Люцианы Береславовны заполнял алхимическую лабораторию. — После чего, медленно помешивая зелье посолонь...

В рученьке боярской появился резной черпачок с ручкою-утицей. Красивый — страсть. Клюв красный, глаза яхонтовые, теплые, не чета хозяйкиным.

— ...помним, что в данном случае использовать можно предметы, сделанные из березы или осины, но ни в коем случае — не из дуба или ясеня. Почему?

Утиный клюв указал на меня.

Померещилось, что утица ажно крикнула, не то с сочувствием, не то поторапливая. Люциана Береславовна страсть до чего не любила, когда студиозусы отвечать медлили. Иль неверные ответы давали.

Холодела.

И лицо делалось таким брезгливым, будто не на человека глядела, а на вшу платяную...

Но тут-то я ответ ведала. Даром что ли вчерашний вечер над «Основами практического зельеварения» проспала. То бишь просидела...

— Береза и осина — женские деревья, а дуб и яшень — мужские. В зелье же содержится сок беломорника, который также является мужской компонентой из числа агрессивных, а потому, пока зелье не перекипит, то и с иными компонентами... — слово это прям само на язык просило, я и пускала, — ... равнозначного полу будет взаимодействовать агрессивно.

Выдохнула.

И подивилась. Как этакая мудротень из меня-то вылезла? Читать-то читала, в книгах-то сиим словам самое место, книги ж по-простому не пишут, а вот чтоб я да сама...

Люциана Береславовна бровку подняла.

Окинула меня взглядом, будто бы я — не я, но диво предивное ярмарочное, на потеху честным людям ставленное. И ласковенько так спросила:

— И как именно вы интерпретируете термин агрессивности в данном контексте?

Ох, если б не наука Ареева, не книжки, им оставленные, которые я из упрямства чистого бабьего читала... не Еська с евонными фантазиями да полигонами... нет, тогда б я не удержалась б, спросила: чегось?

И тут только роту открыла, стою, чувствую себя дурищею распоследнею. Ага, вздумала книгою Люциану Береславовну удивить. Она-то, чай, на своем веку книг поболе моего перечитала.

— Так... громыхнет, — только и сумела выдать, чуя, как полыхают краснотою уши. И не только уши. Вот уж и вправду, буду красна девица, куда там моркве летней.

— Громыхнет, — с непонятым выражением повторила Люциана Береславовна, поглаживая пальчиком утиную голову. — Полагаю, за этим... удивительным термином скрывается самопроизвольно начавшаяся экзотермическая реакция с высоким...

Я только кивала.

Реакция, агась.

Экзотермическая. С высоким тепловым коэффициентом... который гдей-то там растет и

прибывает, аккурат, что опара переходившая...

Я знаю.

Читала.

Вот милостью Божиной клянусь, наемдни читала! Правда, уразумела слово через два, но было там про реакцию...

— Вот и замечательно. — От улыбки Люцианы Береславовны у меня колени подогнулись. — В следующий раз так и говорите... а то... громыхнеть...

Она и опустила черпачок в варево...

...что сказать, и вправду громыхнуло так, что ажно стекла зазвенели. Над котлом поднялся столб огню, а после и дымом пыхнуло, черным да с прозеленью. Дым энтот, до потолка добравшись, пополз, потек, что твой ручей. Только ж ручьям обыкновенным по потолкам течь от Божини не покладено.

А этот...

— Все вон! — Голос Люцианы Береславовны звенел струной. — Быстро! Бегом! Зося, шевелись!

И для пущего шевеления, стало быть, она в меня остатками черпака и запустила. А я что? Просто диво такое... дым течет, переливается, уже и не прозелень — синева проглядывает, да густая, что сумерки осенние. Или не синева? Вот уже и аксамитовые нити блещут, и золотом червленым...

— Зося!

Тут-то я и очнулася, от крика ли, от утицы, которая по лбу меня брякнула, но разом юбки подхватила и бегом...

Дым множился.

Пах он заливным лугом в распаренный летний день, когда мешаются запахи, что сытой землицы, что травы, что цветов... собери букет, Зослава... собери... разве не видишь, что все цветы...

— Все! На выход...

Гудели колокола, но где-то далеко, а трава на лугу поднималася, ласкалась к ногам, уговаривая прилечь, хоть бы на мгновенье. Я ж так устала, я... днями учуся, ночами учуся, сплю вполглаза... травяные перины мягки, легки. И надо лишь глазыньки сомкнуть... а где-то рядом кукушка годы считает. И я с нею могу загадать, долго ль проживу... надобно прилечь.

И считать.

Долго... конечно...

Нет.

Я стряхнула липкие объятья морока. Вот уж не было беды... и огляделась.

Стою.

Лаборатория пуста. Почти пуста. И значит, остальные успели выйти. Хорошо... мой стол от двери самый дальний. Дальше только возвышение, на котором промеж камней горел зеленым колдовским огнем костер. Кипел котел, вываливая новые и новые клубы дыму, того и гляди заполонит если не всю Акадэмию, то лабораторию.

Запах цветов стал тяжким.

Да и в горле защипало. И голова вновь кругом пошла, и вспомнилось, что уже единожды случалось мне в дыму бродить. Тем разом свезло.

А тепериче...

Я сделала шаг к двери.

Я видела эту дверь. Близехонько она. И далека... иду, иду, а она все дальше. И вот диво дивное. Шла я к двери, а встала перед костром.

Гляжу.

Любуюся.

До чего хорош, до чего ярк. Тут тебе и темная болотная зелень, и яркая — первой травы. Бледная, что бывает на озерах посеред лета...

...нельзя смотреть.

Зачарует. Заморочит.

Высосет душу.

И силы до последней капли... и надобно уходить, бежать, хоть и не осталось сил...

— Зослава!

Кто меня зовет?

Уж не то ли клятое болото, которое из памяти не выкинуть, как ни пытайся? И звенит в голове голос старой ведьмы, смех ее...

— Зослава, ты где?

Ищет.

Прятаться надо. Тогда уйдет... баба с костяною ногою, с глазом деревянным, который хитрый мальчонка скрал, а после на золотую голову выменял, да не прибыло ему счастья. Откудова счастью на краденном прорасти? Нет, неправильно это...

...я не боюсь.

Я закрою глаза и...

...и вновь стою на белом поле, только не снегом оно засыпано — крупною солью, которую с моря возят да торгуют втридорога. Соль блестит. Соль хрустит.

Таёт под ненастоящим солнцем.

— Зослава, отзовись!

Из соли вылепляется звериная харя, страшная — жуть. Разевает белесую пасть, зовет...

...мерещится.

Спаси, Божиня, и сохрани... кровь берендеева, дедова... и что дед говаривал? Все мороки в голове живут, а стало быть, надо из головы их выкинуть. Нет ни соли, ни поля, ни зверя того... сгинул, как не было его. Об том Фрол Аксютрович нам еще когда поведал, а ему я верю. Кому еще верить, как не ему?

И луга нет.

И болота.

Позади остались, а есть лаборатория и чужое чародейство.

Затрещали мороки, задымили, да только больше не было в том дыме красоты.

— Зослава! Зослава, послушай, ты должна постараться...

Кирей?

Аррей?

Кого выбрать? Я выбрала... и не отступлюся... и стало быть, надо просто пойти на голос.

— Зослава...

А зовет, зовет... если помру, будет ли плакать? Или отыщет себе другую дуру? Другой такой не найти. Мыслей в голове — что блох на бродячей собаке. Суется, путают.

Встаю.

Иду.

На голос иду, хоть бы вся моя натура протестует, желая одного — прилечь. Ежели не по нраву мне луг, так и пол сойдет. Каменный он в лаборатории, гладенький, правда, в пятнах да подпалинах, так оно ничего, подпалины уснуть не помешают.

А по полу змеи ползут.

Боишься ли, Зослава?

Боюсь. Змей — боюсь. Еще малая была, пошла за малиною да и встретила гадюку, старую, жирную. Лежала та, млела на солнышке вешнем, и ничего-то мне не сделала. Да только после долго я видела во снах высокую траву, желтым куроцветом прибранную, да черное осклизлое будто бы тело. Голову треугольную тяжелую, блеклые змеиные глаза.

Язык раздвоенный.

Гадюки шныряли под ногами. И я остановилась. А ну как наступлю? Так-то змеи не тронут, оне, чай, не люди, чтоб без причины кидаться. И надобно утихомирить сердце, которое екает-екает... вспомнить, что морок сие.

Просто морок.

Но до чего живой!

Вот проползла одна, и чую тяжесть тела ее, слышу, как шелестит о чоботы чешуя. А другая и вовсе обернулась вокруг ноги, и стоило шелохнуться малость, как зашипела, упреждая.

Нет их.

Не существует.

Я же магик, я не просто так девка. Я подгорной твари не забоялась, а тут гадюки... что гадюка? Обыкновенная тварь, от которой слово я знаю крепко, да тут не поможет. Ежели магией сотворена, то магией и спастись можно, верно?

Только какой?

Щитом укрыться?

Не спасет.

Думай, Зослава. Еська ведь верно сказывал, голова, она не только для косы Божиною дадена. Не щит... а что еще умею? Зубную боль заговаривать? Гадюкам сие без надобности. Ожоги лечить намедни сподобилась... ожоги.

Огонь.

Змеи огня боятся.

И не только змеи.

А я... нет, столп пламени не сотворю, но огневики клепать уже приловчилось. Ох, Еська, коль выберусь, в ноженьки тебе поклонюся...

Огневик вспыхнул на ладони легко, будто бы только и ждал, когда ж я, тугодумная, докумекаю дозваться. Гадюки зашипели. Завозились. Ныне их на полу кишело, что на болоте в летний денек. Сплетались черные, бурые ленты, вязали узоры, один другого отвратней. Да я старалась не глядеть.

— Кыш вам! — Я подняла огневика повыше. — А не то...

Зашкворчало.

И огневик вспыхнул ярче. А после и вовсе закрутился, завертелся праздничным колесом, выплеснул снопы искр. Поднявшись к самому потолку, где еще вились черные дымы, он зашкворчал упреждающе...

— Ложись!

И ктой-то тяжеленный, что кабан, сбил меня с ног, навалился, вминая в самое гадючье собрание. Я только и сумела, что взвизгнуть тоненько со страху, да глаза зажмурила.

...покусають.

Громыхнуло. И еще раз громыхнуло. Застучало меленько, будто бы в лаборатории дождь пошел. Мазнуло по лбу горячим. Запахло паленым волосом. И загудел растревоженный огонь.

Еще один морок?

— Вставай! — Арей рванул меня за руку. — Быстро!

Морок.

Откудова тут Арею взяться? Он же тянул меня, а я шла... мнилось — бегу, да только воздух кисельный бежать не дает. И выходит, что бреду, нога за ногу цепляю... того и гляди рухну. Но Арей не позволяет.

А вокруг...

Рыжее пламя лизало стены. Впивалось зубами в дубовые полки. И трещали, рассыпались глиняные банки, тлели пучки с зельями да травами, плавилось стекло... что-то падало и вновь же громыхало, наполняя лабораторию лютым смрадом.

— Давай же! — Арей добрался до двери первым и, распахнув, толкнул меня. — Иди! Беги! Ну же...

— А... ты?

Не морок.

Мороки не злятся. И не горят, будто свечи...

— Иди!

Он оттолкнул меня, сам же отступил и дверь захлопнул. Неужто и вправду думает, будто бы дверь запертая мне преградой станет? Нет уж... я...

— Стой!

Кирей вцепился в плечи, Лойко за руку схватил, повис, что гончак на медведе.

— Стой, ты ничем ему не поможешь!

За дверью гудело пламя. И по мореному дубу расползались пятна ожогов.

— Успокойся... ничего ему не станется. Ему — точно ничего...

Я с легкостью стряхнула Кирея. И Лойко. И...

Фрол Аксютрович откудова взялся? Не ведаю. Просто шагнул, махнул рученькой и поплыло перед глазами все. Падала я в вешнюю зеленую траву. И падала, и падала, и боялась упасть, зная, что в траве этой — гадюк видимо-невидимо...

Глава 6. О всяком и разном

Трава травую, а просыпалась я тяжко.

Будто из болота выбиралась, но знала, что выбраться надобно. И для того — глаза открыть, даром что слиплися, точно кто рыбьим клеєм склеил.

Разлепила один.

Раскрыла другой.

Мутно все. Плыветь... влево рыбы, вправо раки. Откудова раки взялись? И вовсе не понятно, где я.

— Я ж говорил, обморок это... от нервов. — На Еськин бодрый голос голова моя отозвалась гудением. Не голова — колокол храмовый.

Ничего, ежель гудит, значит, есть чем.

— Зосенька, красавица, открой глазыньки... — Еська был рядом, а где — не пойму, не то сверху, не то сбоку, не то со всех сторон разом. — А не то поцелую.

От такой перспективы глазыньки мои полуслепые разом раскрылись.

Раки не исчезли.

Красные. Матерые. С усищами длиннющими расползались они по потолку. Теснили друг дружку клешнями, хвосты топорщили... эх ладно намалевано! Будто живые. Хотя ж живые раки колер иной имеют, темно-зеленый, болотный.

— Видишь, если достаточно живая, чтобы твое рукоблудие критиковать...

— Это у тебя, Еська, по жизни рукоблудие. А у меня увлечение живописью.

— Ага, раками...

— Почему нет? Зослава, голова кружится?

Надо мной склонился некто. Был он рыж и смутно знаком. Царевич? Кто — не различу.

— Кружится, — сказал он, наклоняясь к самому лицу. И веко пальчиком оттянул. — Конечно. Это вполне естественно... ее бы к целителям на пару деньков отправить.

Евстигней.

Точно.

Я голос узнала. А вот лица не разгляжу. Силюся-силюся, но никак. Не лицо — блин с конопушками.

— Я тебе, кстати, то же самое говорил, — отозвался Еська.

— На себя посмотри. Можно подумать, сильно отличаешься. Все мы тут... блины с конопушками.

Это выходит что? Они в голову мою залезли?

— Нет, Зославушка. — Еська по голове меня погладил, а может, и не он, может, кто другой из царевичей. — Это ты у нас вслух думаешь. Презанимательные, к слову, мысли. Слушал бы и слушал.

— К целителям...

Евстигней отступил.

— А ты уверен, что эти целители ее до смерти не доисцелят? — Еська присел и руку на лоб положил. — Зося у нас девушка, конечно, крепкая, но вот... есть опасения.

— Тихо, — этот голос я узнала не сразу. Ерема был молчалив и неприветлив.

— Ты уверен?

Елисей?

Или Егор?

Стало быть, где бы я ни находилась ныне, но в месте сем собрались все царевичи... и раки. Лупоглазые. С очами синими, человеческими. Глядели они на меня столь печально, что разом вспомнились мне иные раки, коих пацанье Барсуковское со старого бочага таскало. Место было знатным, со стеною глиняною, сверху изрытою ласточками да стрижами, а снизу — от раковых нор зеркастое. И раки там водились огромные, с полведра каждый.

Варили их на берегу...

В животе заурчало.

— Ни в чем я не уверен.

Еремин голос отвлек и от раков, и от урчания, и от Еськиной ладони, коия уже не лобщупала, а волосья мои перебирала, подергивала, будто проверяя, прочно ли на голове держатся.

Я моргнула раз и другой.

Раки не сгнули.

Рыбы тоже, но те были рисованы дивно, синими и зелеными, с плавниками-перьями. Уж не ведаю, в каких краях такие водятся.

Я лежала на кровати. На широкой такой кровати, периною толстенною застланной, одеялом пуховым по самый нос укрытая. Лежала и прела.

Гудение в голове улеглося.

Зато во рту стало сухо. Язык — что доска неошкуренная, горло — печка из колотого кирпича сложенная. И голос в той печи родится трескучий, глухой.

— Где я...

— Говорил же, сама оживет. — Еська руку протянул и сесть помог.

— И все-таки... — Евстигней глядел хмуро, небось, за раков обиделся. А что я? Я врать не привыкшая...

— Евстя, помолчи. — Еська сел рядышком, плечом подпер. А я... я глазела во все глаза.

Нет, я ведала, что царевичи в Акадэмии обретались. Оно и понятно, туточки всяк безопасней, нежели в столице. Да и сподручней.

Но вот бывать в гостях не доводилося.

И не только мне, мыслю, иначе б не сочиняли девки гишгорий про комнаты огромные, где на окнах узоры из самоцветных камней выложены, стены шелками азарскими укрыты, а полу из-под драгоценной рухляди не видать.

Не было камней.

Окна обыкновенные, и стекла в них не самоцветные, но простые, разве что с прозеленью, каковая от чар навешанных появляется. Стены побеленные. Уже, правда, не с раками, но с гадами всякими. Тут и ящерка-василиск, коия из петушиных яиц на свет родится, и саламандра-огневичка в искре пляшет, и гадюка... и так намалевана, что меня ажно замутило, как увидела.

Лучше бы шелка.

Самоцветы.

И рухлядь, поелику пол был ледянящий. Нет, ладно рухлядь, но неужто в казне захудалого ковра не отыскалося? И сундуков с добром, с посудою чеканною, вазами тонкими, с золотыми да серебряными монетами не видать.

Вдоль стен кровати стоять числом шесть, застланы простыми покрывальцами, у бабки моей такие тож есть, самотканые да крепкие, сто лет прослужат да еще на сто хватит.

Помимо кроватей были и сундуки, правда, невысокие, с крышками расписными да замками хитрыми, от ворья ставленными, но простые, дубовые. Ближний раскрыт, никак нарочно, чтоб самолично увидела я: нема в нем ни золота, ни каменьев, ни иного скарбу, окромя пары рубах да сапог поношенных, голенища которых из сундука выглядывали.

Валялись подле сундука портки.

И чья-то шапка свисала с колышка над кроватью.

Стол, примостившийся у окна, завален был книгами да свитками. Хватало их и на полу, который, судя по виду, если и мели, то давненько. Стыд-то какой! Куда только Хозяин глядит, ежель у царевичей под кроватями клоки пыли лежать...

— Все помолчите, — велел Елисей.

Он сидел посеред комнаты, на азарский манер перекрестивши ноги. Босой. В штанах, некогда листовяно-зеленых, ярких, а ныне застиранных и еще с заплатою на колене. Поверх заплаты примостилась дощечка вошенная, которую Елисей локтем придерживал.

Рубаха его пестрела многими пятнами.

На полу перед царевичем раскинулся лист пергамента, с одного боку придавленный канделяброю, коию, мнится, видела я в кабинете гиштории, а с другого — каменною бабой. Ее-то я точно прежде не видела и видеть ныне не желала.

Срам какой!

Баба была голою...

— Как я тут...

Еська ткнул локтем в бок и взглядом указал на Елисея. Мол, велено тебе молчать, Зослава, так и молчи. А то растрещалася сорокой. И что я? Только кивнула.

Елисей изогнулся, бабу подвинул — нет, вот что за охальник ее сваял? — и черкнул по пергаменту восковою палочкой. Голову набок склонил.

Поглядел.

Поскреб нос, оставивши на нем алое пятно.

И вновь склонился.

— Дай, — велел кому-то и руку протянул. А Ерема в эту руку коробочку сунул махонькую. Крышечку любезно откинул и еще щипчики протянул, которыми иные девки брови выдергивают.

Елисею они для иного понадобились.

Коробочку он на досточку поставил. Щипчики в руке стиснул и ловко так выщепил из коробки камешек. С виду — простой, обыкновенный даже. Этаких каменьев на берегу любого ручья воз соберешь. Камешек аккуратно на пергамент положил. Поглядел.

Нахмурился.

Сдвинул на волос.

И с другим то же проделал... и с третьим... я глядела, разом про все вопросы позабывши. И только когда каменья легли все до одного — а насчитала я их без малого дюжины три, — выдохнула. Знать не знаю, чего Елисей задумал, но мыслю, дело непростое, если он с каменьями так вошкается.

Коробочку и щипчики он протянул не глядя, уверенный, что примут. И Ерема не подвел.

— А теперь интересно будет...

— Волос нужен.

И тут меня за волосы и дернули.

— На, — щедрый Еська протянул пару моих волосин. — Зосе не жалко.

Да что ж это твориться! Этак я лысою остануся, а...

— Не жалко. — Еська вновь ткнул в бок. — Для общего дела. Зослава, не дуйся, поверь, этакое ты нигде больше не увидишь.

Волосы мои Елисей над свечою спалил.

И палил сосредоточенно. Лоб в морщинах. Глаза прикрыты. Губы шевелятся, знать, бормочет чегой-то, только вот магии я не чую. Елисей же пепел от волос поверх пергаменту сыпанул. Медленно и широко руки развел, будто бы желая обнять кого, а кого — не ведаю. Хлопнул.

И стало тихо.

Так тихо, что слышно было, как вяло гудит где-то сонная весенняя муха.

— ...вы в чем-то меня обвиняете? — Голос Люцианы Береславовны прозвучал так ясно, что я едва ль не подпрыгнула. Огляделась.

Нет, нету ее.

Комната прежняя. Царевичи... Елисей сидит, застыл, насупившийся, что сыч на рассветный час. Ерема рядом, за плечом высится, руку на шею братову положил, будто придушить желает.

Еська рядом со мною.

Евстигней раков своих разглядывает. Егор лежит на кровати, прямо в сапогах — вот уж немашечки на него управы — завалился. И руки еще на груди скрестил, будто покойник. Елисей в угол забился. Сидит, не шевелится, только глаза зыркают.

— Я лишь пытаюсь понять, что именно произошло. — Фрол Аксютрович говорил мягко, но я этой мягкости не поверила ни на грошик. Слышалось за нею... вот недоброе слышалось.

— Поверь, мне бы тоже хотелось найти этого шутника...

— Полагаешь, имела место шутка?

— А разве нет? — Люциана Береславовна вздохнула. — Понимаю, что в свете последних событий все выглядит несколько более... драматично, чем оно было на самом деле, но уверяю вас, что мы имеем дело с обыкновенной студенческой выходкой. Безответственной. Бессмысленной. И в то же время относительно безобидной.

— Относительно. — Архип Полуэктович сказал сие так, что я уяснила — безобидного в случившемся не было ни на грошик.

— Божиня милосердная, и ты туда же! — воскликнула Люциана Береславовна. — Да подумай сам... «блаженный сон» был придуман целителями! Целителями! Для облегчения страданий. Для случаев, когда пациента требуется погрузить в крепкий сон, чтобы не испытывал он боли. И как этот сон способен навредить? Да, ваша хваленая студентка застряла в лаборатории, но...

— Почему? — перебил Фрол Аксютрович.

— Что?

— Почему, я спрашиваю, получилось так, что она, как ты изволила выразиться, застряла в лаборатории?

— Я приказала всем покинуть помещение...

— Ты не приказать должна была, а проследить, чтобы все учащиеся покинули опасную зону.

Я слушала, затаивши дыхание. Не ведаю, что за чары использовал Елисей, да только, чуется, хвалить за них не станут.

— Эта девица совершенно не способна...

— Люциана!

— Божини ради! Я несколько раз пыталась до нее дозваться! Я требовала уйти, а она... она просто стояла. И что мне было делать?

— Ты у меня спрашиваешь? Ты отвечаешь за них, Люциана! За всех, а не только за особ благородного рождения...

Ох, хуже нет чужие свары слушать, а уж когда из-за тебя свара... хоть ты под пол проваливайся.

— Я понимаю, что ты ее недолюбливаешь... хотя нет. Постой. Не понимаю. Да, Зослава — очень специфическая особа...

— Весьма, — это было произнесено с легким оттенком брезгливости.

— Но она умна. Честна. И...

— Глупа, как гусыня.

— Ты преувеличиваешь.

— Это ты, Фролушка, преуменьшаешь. Она... подобные ей — это какое-то издевательство над самой идеей Академии... да ты только посмотри! Ну какая из нее магичка?! Боевой маг! Квашня деревенская! Да у меня любая дворовая девка может...

— Хватит!

Я ажно присела.

— Довольно, Люци, — произнес Фрол Аксютрович, и ныне не кричал, но голос его звучал устало, будто бы надоел ему нынешний спор, а как прекратить его, он не ведает. — Я знаю твое мнение. И по поводу Зославы, и вообще...

— Какое мнение?

— Магия для избранных. Тем, кому повезло родиться в правильной семье. Верно? Поэтому ты раз за разом поднимаешь вопрос квот для студентов простого звания. А уж запрет на поступление для холопов...

— Избавил бы нас от многих проблем. И признай, Фролушка, что одно дело — учить тех, кто обладает какими-никакими базовыми навыками, и совсем другое — людей, едва способных написать свое имя. Да и чему их учить? Как?!

Она говорила с пылом, с жаром, а у меня розовели уши. Нет, видеть того я не видела, но чуяла — вот-вот полыхнут ярко-ярко.

Имя?

Имя я писать умела. И не только его. И пусть держала перья самописные не так ловко, как иные студиозусы, и вправду с малых лет к наукам приученные, но все ж не роняла. Да и читала не по складам.

— Ты ведь понимаешь, что в большинстве случаев время упущено. Что их удел — пяток заученных заклинаний. Даже не заученных, задолбленных намертво, без надежды понять их структуру... что им самим большего не надо.

— И что?

— И то, что исключения бывают, согласна, но тратить время, тратить силы... ресурсы на такую вот дрессировку?! Чего ради? Глупой идеи о равноправии?

Еська хмыкнул, и Елисей, не открывая глаз, показал ему кулак: молчи, мол. Верно, волшебство была очень уж тонкою.

— И ты, и Михаил Егорович... вы идеалисты, Фролушка! Вам кажется, что весь мир можно взять и переменить по собственному хотению. Вы в упор не желаете видеть, что

перемены эти никому не нужны!

— А что нужно?

— Магики. Сильные магики. С хорошим уровнем подготовки. А не недоучки, которые получают на выпуске такую же грамоту, как действительно знающие специалисты. Подумай о репутации Академии... где выпускники, которыми можно гордиться? Нет... разбредаются по полям... заговаривают землю, скот лечат.

— А тебе бы подвигов.

— Хоть бы и так! — с пылом воскликнула Люциана Береславовна. — И не подвигов, а... думаешь, азары бы глянули на наши земли, если б тут жили настоящие магики?

Не об том беседа пошла, а все одно слушать любопытственно. И совесть несколько не гложет. Может, разговор этот и не предназначен для чужих ушей, да только вышло так, что в игры эти высокие меня втянули и супротив воли.

— И ты надеешься вырастить этих настоящих мажиков из боярских детей? — Фрол Аксютрович не стал скрывать насмешки. — Сама-то ты не идеалистка, Люци? Оглядиcь! Кто из них, из нынешних, о подвигах помышляет? Кому вообще эти подвиги нужны? Нет, может, твои бояре и писать умеют, и читают споро да не на одном языке, только думают все больше о собственных нуждах и желаниях. Меряются не умением, а тем, чей род знатней, а чей — богаче. И дай таким настоящую силу, что они с нею делать станут? Молчишь? А я скажу. Не будет с этих, позволения сказать, мажиков защиты земле, но лишь одно разорение. И не кривись... что, давно стихла боярская грызня? Или не стихла, это я слишком уж понадеялся. Попритихла... но все равно каждый на земли соседа глядит, прикидывая, как бы половчей отхватить кусок-другой. Или людишек переманить... а если не выйдет, так хоть в разорение ввести. Все радость. Что скажешь? Остановят это магики? Или каждый за своим родом станет интересы блюсти.

Еська хотел чего-то сказать, но опомнился, мотнул головою зло и ладонью по колену ляснул. От резкого звука в воздухе зашипело. Егор нахмурился. Елисей заводил руками над пергаментом, спеша выправить волшбу, а Еська виновато втянул голову в плечи да руками развел: мол, тяжело ему молчать.

— Думаешь, холопы лучше? — Голос Люцианы Береславовны звенел от гнева. — Если так, то ты...

— Хватит. — Слово Архипа Полуэктовича упало, словно камень. — Как дети малые, ей богу... значит, ты, Люци, уверена, что это шутка?

— Конечно.

— Дурная шутка...

— Да я же говорю, этот дым целители используют...

— Волчье лыко они тоже используют, — возразил Архип Полуэктович. Он говорил неспешно, растягивая слова. — Только ж обычный человек им потравится...

— Вопрос концентрации... — Люциана Береславовна осеклась, и воцарилось молчание, да такое, что я, признаться, подумала, что развеялась волшба. Но нет, что-то звякнуло, заскрежетало, будто кто мебель двигал.

— Концентрации, значит.

— Это в любом случае лишено смысла! Ваша Зослава... да никому, кроме вас, она не нужна! А студенты... они же как дети... кто-то решил, что будет забавно нанести на мой инструмент сок белодонника... глупая шутка!

— Люци, а скажи... многие ли из твоих студентов способны, скажем так, рассчитать

реакцию? Понять, как изменится состав, если добавить в него этот самый сок...

— На что ты намекаешь?

— На то, что ты в своем упрямстве не желаешь замечать очевидного. Я, конечно, далек от зельеварения, да помнится с остатков, что наука эта непростая. Кинь твой белодонник чуть раньше аль чуть позже, и ничего не выйдет. Или если вместо белодонника белого лекарственный взять... или не соком, а пылью... а тут все одно к одному совпало. Расчет.

— Или случайность. Тебе ли, Фролушка, не знать, как оно порой бывает... но, Божини ради, подумай. Если и вправду хотели навредить кому-то, той же Зославе... — имя мое она произнесла с презрением, хотя, видит Божиня, ничего-то не сделала я этой женщине, так за что ж меня презирать? — так почему выбрали столь ненадежный способ? Технически — выполнить сложно. Ты прав, минутой раньше или позже, и реакции бы не было или не столь бурно протекала бы она. Но допустим, кто-то сумел предугадать, что из всех инструментов я воспользуюсь именно третьим черпаком...

— Ты им почти всегда пользуешься, — встрял Архип Полуэктович. — Уж извини, Люци, но твои практикумы из года в год не меняются.

— Это плохо?

— Не о том речь...

— Ладно, пускай. Но тогда почему белодонник? Почему, скажем, не вытяжка из темнокореня? Или не горные слезы? Реакция была бы столь же бурной, а дым... никого бы в живых не осталось.

— Ну... — Я почти видела, как морщит лоб Архип Полуэктович. — Чернокорень черный. Ты б заметила, если б кто перемазал твой черпачок дегтем. А слезы гор поди попробуй достань...

— Я своими инструментами тоже не разбрасываюсь! И если твой шутник добрался до черпака, то и слезы достал бы...

— Значит, ему не нужно было убивать всех.

— Ему вообще не нужно было никого убивать, — устало повторила Люциана Береславовна. — Дым безобиден. Не веришь мне, спроси у Марьяны. Она точно не упустит случая открыть тебе глаза... она это дело любит, если помнишь.

— Безобиден... безобиден... что там в составе?

— Мыльнянка обыкновенная. Ивовая кора. Сушеная рожаница... мы варили зелье против запоров.

— От запоров теперь точно ни у кого не будет, — хмыкнул Фрол Полуэктович.

— Рожаница и белодонник... а если вместо мыльнянки взять листья басманника...

— Дурманное зелье? — это сказал Фрол Аксютрович. — Люци, а дурманное зелье можно в дым...

И вновь тихо-тихо. Слышно, как скрипит что-то, не то стул, не то перо стальное по бумаге, а может, и вовсе мне этот скрип мерещится.

— Если изменить вектор наполнения силы... дурманное требует куда большей концентрации... и тогда понадобится кошачья моча...

Еська скривился, небось прикинул, сколько успел вдохнуть дыма, на кошачьей моче сваренного.

— ...и сушеный бычий пузырь... и...

— ...ты бы заметила, если бы добавляла сушеный бычий пузырь в зелье от поноса?

— От запора!

— Не важно.

— Не скажи, — хохотнул Архип Полуэктович, — от когда случится у тебя чего, тогда и поймешь, что в иной момент очень даже важно, какое зелье тебе суют, от поноса или от запора.

— Нет.

— Что, Люци?

— Я бы не заметила. Прости, но... я предпочитаю работать с заготовками. Той же рожанице нужно время, чтобы состав выходил. Два часа минимум. Поэтому на одном практикуме мы делаем заготовку, а на другом, на основе заготовки...

— Я понял, — оборвал ее Фрол Аксютрович. — Где хранятся заготовки?

— Первых курсов — в подсобном помещении. Там нет ничего... особенного. Элементарные зелья.

— От поноса.

— Дался тебе этот запор!

— Не суть. Когда вы варили основу?

На той седмице. Помню, как мусолила я рожаницу, которая отчегой-то была недосушенной, а потому не резалась, но тянулася за ножом. А по рецепту надлежало ее не просто разрезать — истолочь в порошок. Люциана ж Береславовна, глядя на мои мучения, бросила:

— Это вам не борщ варить, Зослава...

Ага, можно подумать на своем веку она много борщей переварила. Небось на кухню если и спускалася, то по великой надобности. Иначе б ведала, что борщ — это не просто так, это, почитай, искусство, навроде Евстигнеевых раков. Там тоже надобно рецепту блюсти строго. А то или свекла бледною станет, иль картопля покраснеет, иль еще какая напасть случится.

В Барсуках у каждой девки свой секрет имелся.

Одна духмяную траву кидает, другая кость говяжью по-особому варит, третья и вовсе чего-то творит, а чего — об том никто не ведает, да только борщи у ей выходят нажористыми да сладкими.

Былая обида всколыхнула душу.

Стало быть, меня она за невнимательность пеняет, а сама не разглядела, что один состав другим подменили. И как не заметила?

— Как ты не заметила? — мысль моя была услышана Архипом Полуэктовичем.

— Да... не знаю сама... — Я представила, как Люциана Береславовна кривится, признавая за собою ошибку. — Не приглядывалась я!

Кто-то вздохнул, и не понять, то ли в царевичевой комнатухе, то ли там. А где «там» — мне не ведомо.

— Хотя... — Тень сомнения в голосе была слышна не только мне. — Не знаю... ваша подозрительность заразна! Да если кто...

— Люци...

— Котел стоял чуть иначе, — призналась она. — Я всегда ставлю его так, чтобы ручка лежала влево и...

— И я помню твою занудность.

— Это не занудность! Это привычка. Не важно. Я вошла и увидела, что его сдвинули. Ручка не перпендикулярна стене. Понимаешь? И я...

— Что-то заподозрила?

— Нет... не знаю...

— Вспоминай.

Елисей нахмурился и вытянул над пергаментом руки. Пальцы растопырил. Да так и замер. Лицо его побледнело, на лбу пот высыпал, и густенько. А из носу и вовсе кровавая ниточка вынырнула.

Тяжко ему дается волшба.

Ерема, который руки на плечах братовых держал, стиснул шею его, кивнул, и Еська тотчас скатился с кровати. Шел он на цыпочках, боясь, верно, наступить на скрипучую доску аль еще как нарушить волшбу.

— Со мной и прежде шутили... неудачно. — Люциана Береславовна говорила, а я не узнавала голосу ее. Куда только подевались что холод извечный, что презрение. Жаловалась она.

Чтоб она да жаловалась?

— Помнишь, в прошлом году зырьян-порошком днище натерли? И оно, нагревшись, отвалилось... я тогда ноги мало что не обварила. Им же это весело... а в позатом — зуденниковой травкой страницы пересыпали. Месяц потом руки лечила.

— Луци...

— Да уж помнишь... конечно, помнишь. Отчислять ты их отказался. — Теперь обида была явною. А я... я вот подумала, что за иные шутки шутников и пороть не грех. — Как же... талантливые... силы не рассчитали... ты всегда их защищаешь. Я проверила котел... и зелье...

— Или собиралась проверить, — тихо произнес Архип Полуэктович.

— Что?

— Если бы ты и вправду его проверила, неужели не обнаружила бы подмены? Сомневаюсь. Подумай хорошенько...

— Думаю.

— Вспомни...

— Да я вспоминаю! Не дави!

— Если тебе помочь...

— Что, снять воспоминания? Нет, Фролушка, на это я не пойду... и если ты намекаешь...

— Охолонь, — велел Архип Полуэктович. — И ты, Фрол, погоди. Давай-ка иначе... вспоминай. Вот ты заглянула в лабораторию. Когда?

— Перед практикумом... я всегда... ну ты знаешь. Все знают, что у меня свои привычки... и да, я зашла минут за десять до начала. Убедиться, что все на своих местах... проверить...

— И увидела, что котел двигали?

— Да.

— И что ты сделала? Давай, Люци, ты же знаешь, как это важно...

— Сделала... да ничего... я подошла... да, подошла ближе.

— Что увидела?

— Его двигали. Определенно. Не только ручка, но и бок другой. У меня на одном вмятина небольшая. А другой подпален и не отчищается... другой бок. Но дно чистое. Я проверила... ручка тоже цела... помнишь, как-то ее подпилили, и когда...

— Помню, — ласково произнес Фрол Аксютрович. — Ты на себя вывернула кипящий деготь... прости, Люци...

— Мне показалось, что оттенок не тот. Не тот оттенок. — Она сказала это так жалобно, что у меня сердце обмерло. — Должен быть с легкой прозеленью, но без мути... а тут...

— Молодец. И ты...

— Я хотела проверить, точно хотела... но...

— Тебя отвлекли?

— Д-да. — Это прозвучало нерешительно, будто бы Луциана Береславовна до конца так и не уверена, и вправду ли ее отвлекли.

— Кто?

— Марьяна... да, Марьяна вошла... ей срочно понадобилась кора крушины, и еще ягоды. И она стала спрашивать по Любаньку, а я...

— А ты заговорила. И заговорила.

— Да...

— И про зелье забыла напрочь.

— Д-да... сигнал подали. А я на практикумы не опаздывала. Никогда никуда не опаздывала. Но ведь оттенок был другим! Как я могла об этом забыть? Как?!

Еська присел рядом с братом и взял его за руку. С другой стороны опустился Егор. А Евстигней потеснил Ерему. Он стиснул ладонями Емельяновы виски, наклонился к самому уху и заговорил. То бишь губы шевелились, но ни слова с них не слетало.

— Просто заговорила... — Голос Архипа Полуэктовича прозвучал над самым ухом.

— Или...

— Погоди судить. Может, оно и вправду случайно все вышло. Марьяна...

— Стерва.

— Не без этого.

— Она никогда прежде ко мне не приходила! Если нужно чего, то девок своих отправляла, а тут сама... и про Любаньку... мне следовало бы сообразить, что это не случайно... какое ей до Любаньки дело, но она... сказала, что у нее есть одна мысль... и надо бы попробовать... и может, Любаньке легче станет... и... я...

— И ты не смогла отказаться от шанса.

— Да.

— Люци...

— Да идите вы оба! С вашим сочувствием, с вашими советами... не нуждаюсь... и в идеях ваших... знаешь, за что я их... всех, кто простого звания... за то, что притворяются... магиками притворяются, целителями... и им верят! Всем верят! Как же, царева грамота... а за этой грамотой — пшик! Пустота! Если б Светозара тогда... если бы был целитель, который и вправду исцелять мог, а не та недоучка... и она осталась бы жива, и Любанька... а ты говоришь, благо... засунь себе это благо, Фролушка, знаешь куда...

Кровь капала на затасканные брюки.

— Когда я вижу таких вот девок... тупые коровы с амбициями... они ж не понимают даже, что тупы и ленивы. Нет. Они уверяются, будто бы отныне самой Божине правая рука. И другие им тоже верят. Такие, как Светозара... а потом... потом выходит... что выходит, то и выходит. И мы в этом виноваты! Ты, Фролушка... и ты, Архип, не надо морщиться... думаешь, защитник, который только и способен, что с крысой управиться, чем-то лучше целителя-недоучки? И я тоже, если учу... пытаюсь... но это все...

Елисей дернул головой и начал заваливаться набок. Упасть ему не позволили, подхватили на руки, уложили на спину.

Еська сел на ноги, а Егор с Евстигнеем плечи братовы к полу прижали. Ерема голову набок вывернул. Едва успели, как тело Елисеево вновь дернулось, губы приоткрылись, и изо рта донеслось злое шипение. Елисей задергался, задрожал и выгнулся дугою.

— Тише, Лис, тише... — Ерема держал голову крепко и говорил тихо, да я слышала. — Скоро уже... потерпи...

Я же... я видела людей, больных падучей. Иные мыслили их проклятыми, а бабка твердила, что падучая — та же болячка, коию лечить надобно, да никто не придумал как.

Елисей бился.

Изгибался.

Рычал. И глаза его раскрытые наливались кровью. Губы сделались синими, а на лбу проступили жилы, отчего сделался он похож не на человека, на зверя-перевертня, который обратиться силится, да никак не может.

— Потерпи... — повторял Ерема, уже едва не плачучи. — Не надо было тебе... а ты полез... ты же обещал, что не станешь до края, а все одно полез... дурень ты... и я дурень, что тебе позволил.

Елисей вновь рванулся и обмяк, ослаб, глаза закатились, а изо рта пена пошла.

— Голову набок надо...

— Без тебя знаю, — огрызнулся Ерема, бережно пристраивая голову брата на колени. — Он не заразный.

— Знаю.

Еська молча поднялся, и остальные с ним.

— Надо на кровать переложить, а то ж замерзнет. — Я осмелилась подойти, хотя ж тут, чуяла, была лишнею. Если не впервой им такое видеть, то сами знают, чего брату надобно.

— Не замерзнет. Он у нас на снегу спит, — ответил Евстигней, в сторону глядя, и глаза его были полны печали, аккуратно что у всех раков разом взятых.

— Зачем?

— Что «зачем»?

— Зимой на снегу спать. — Я переступала с ноги на ногу.

— Да у него спроси... придурь такая. — Ерема стер пот со лба брата. — Это не падучая... похоже, но не падучая. Его лекари смотрели... много лекарей смотрели... один отравить пытался.

— Ерема!

— Ай, Егор, она и без того знает столько, что или с нами, или на плаху.

— Я не хочу на плаху! — Я потрогала шею. Вздумали тоже девку бедную плахою страшать. А ну как и вправду застращаюся?

— Никто не хочет. — Ерема поманил меня. — Иди. Присядь.

— Я...

— Не бойся, никто тебя не тронет. Кирей запретил... скажи, чем ты нашего азарина приворожила?

Я подошла. Выходит, Ерема из них старшой? Или Евстигней? Егор? Ох, этак и запутаться недолго.

— Присядь. Еська, дай даме подушку, а то пол жесткий... да не мою!

— Твоя идея, — отозвался Еська, подушку мне протягивая, — твоя и подушка!

Подушка была мяконькою, расшитою рыжими петушками. Простенький узор, да и повыщвел, местами нити истрепались, но отчего-то не сменит подушку царевич. И на меня глядит хмуро.

— Да спасибо, я так, — присела, как Архип Полуэктович учил.

И подумалось, что ныне у меня вид для визитов и бесед самый неполитесный. Одежда мятая, в пятнах и пропахла зельем тем, об котором я так и не поняла, вредное оно было иль не особо. Чоботы сгнули. Коса растрепалась.

Страх Божинин, а не девка...

— Мой брат, — Ерема кивнул на Еську, который подушку на кровать возвернул, а сам, юркий, что шошок в курятнике, за мое плечо сховался, — уверен, что ты не причинишь нам вреда. Вольно. А вот невольно... твое незнание легко использовать, поэтому он считает, что нам стоит за тобой приглядывать. И... рассказать кое о чем...

А и сам-то бледен.

Взмок.

Отчего?

Я пригляделась... а ведь неспроста он брата держит, и волосы евонные, потемневшие от поту, перебирает. Вьются нити силы, протянулись от Еремы к Елисею...

— Что видишь? — Ерема на мое любопытствие не обозлился. И спрашивал спокойне, да только у меня в грудях вновь заколотилось.

— Вижу, что ты силой с ним делишься.

— Верно. На него теперь глянь.

Глянула.

И глядела... и долгехонько глядела... выглядывала. И выглядела. Сперва-то только человека и увидала, каковой на полу лежит, не то спит, не то и вовсе помер. Елисей и дышал-то через раз. А сердце едва-едва в грудях стучало.

После увидела я, что сердце это — будто бы в кольце синем, льдистом. А от кольца того к рукам и ногам нити идут, и натянуты они, тронь одну — зазвенит, мучение сим звоном порождая.

Не падучая.

Падучая — болезнь, Елисея же прокляли.

— Говорил, увидит... а ты...

— погоди, — прервал Еську Ерема. — Так что видишь, Зослава?

Я протянула руку и нарисовала над грудью Елисеевой круг.

— Проклятье... сердце заперли.

— Хорошо сказано, — Ерема кивнул. — Заперли, только не проклятье... нарочно его никто не проклинал. Приглядиись еще.

К чему?

Ах, спросить бы, да только не скажет, поелику нечестно будет сие. И гляжу, щурюся, глаза выпячиваю с натуги. И мнится, скоро сама стану на рака похожею.

Вон, ужо рябить стало.

Иль не рябить?

Вспыхнуло тело Елисеево прозеленью, полыхнуло, потянулось, меня очертания. И кольцо наружу вывернулось, а с ним и нити, что ослабли, да ненадолго. Вновь дрогнули, натянулись.

Не человек лежал.

Зверь.

— Оборотень? — тихо спросила я.

— На четвертушку, — так же тихо ответил Ерема.

Как же оно возможно такое?

Оборотни... оборотни всякими бывают. Одне рождаются в двух ипостасях, и сие есть милость Божирина к детям своим. Да мало их, мыслю, не больше, нежели берендеев. Но есть и иные, Мораною меченые. Сами по воле своей человеческую долю со звериною смешавшие.

Случается, что живет человек.

И возжелает силы ли звериной, ловкости, удачи... главное, чтоб желания этого хватило семь клинков сковать с головами волчьими и шкуру добыть. Тогда идет он с этой шкурой в лес, стелет на пню, бьет ножами, а сам с переворотом через ножи эти скочет.

Будет удача — зверем на ту сторону опустится.

Да только... звериная суть хитра да сильна, бывает, что и человек не только тело волчье обретает, но и волю, и розум... а то и безумие.

Ежель добавить, что переворот Мораниным словом вершится, стоит ли ждать, что не переродится перевертень, не поддастся неутолимое жажде, не отзовется на голос, который одно велит: убивать.

Оттого и боятся люди перевертней.

Убивают.

Зачастую, баил дед, вовсе невинных убивают, но Елисей...

Глава 7, где речь идет об оборотнях и тайнах семейных

Ерема глядел на меня внимательно.

Ждал.

Чего? Страху девичьего? Крику? Слез? Аль что потребую я брата евоного выдать?

Не потребую.

Мне он зла не сотворил. Да и не слыхала я, чтоб в Акадэмии кого загрызли. Небось об таком мигом известно стало б. Да и в городе тихо... ну как, бабка моя наемдни писала, что грядеть красная луна, а с нею — конец света, не иначе, об том аккурат на Кузнечном конце баили. Пойдет летом саранча огромная, с курицу ростом, и пожрет, чего только увидит.

А чего не пожрет — потопчет.

И предвестником тому — двухголовое теля, которое бабка самолично видала. А еще писала, что одна женщина, достойная особа, мельникова жена, кроликов рожает, да по дюжине зараз, и никак остановиться не способная. Прокляли ее...

Но про перевертней и загрызенных — ни словечка.

— Не бойся, Лис у нас тихий. — Ерема руку убрал. — Ему тяжело...

Я кивнула.

Верно. У меня второго обличья нету, оттого не чую я себя обделенною. А вот если б было да заперли? Мыслю, для того кольцо и лежит над сердцем? Это ж навроде клетки выходит, только не снаружи она, изнутри.

Разве ж оттого легче.

— Зачем ты...

— Затем, что интересно, чего в тебе братья отыскали. Может, и нам это сгодится. — Ерема голову набок склонил и глянул этак, с насмешечкою. А в глазах его блеснула волчья хитрая желтизна. — Жил-был боярин... обыкновенный. Не худородный, но и не из первой дюжины. Не богатый, но и не бедный. Собой не писанный красавец, но и не урод. Не особо умен, но и не сказать, чтоб вовсе дурак. Над холопами не зверствовал, хозяйство вел крепкою рукой... как пришла пора, то и женился на соседской дочке. Взял в приданое пару деревень и воз рухляди. Зажили молодые... и случилось так, что полюбил боярин супругу. Тиха, говорили, была боярыня, нравом кротка, разумна не по-женски. Все у них с мужем ладилось, иные глядели и завидовали. И верно от зависти, а может, проклял кто, но вышло так, что ходила боярыня праздною...

Сказка?

Нет, не сказка.

Я сижую. Гляжу. На Елисея, с которого схлынула былая бледность, да и задышал он ровней. Но кровь из носу все текла, яркая, что водица крашенная. А никто и не думал утеретьь.

— Долго она этим маялась. И по святым местам ездила, и жрецам кланялась, и целителей о помощи просила, но никто не мог понять, отчего так. Здорова, говаривали целители. А жрецы лишь руками разводили: мол, на все воля Божинина. Тогда-то и нашелся недобрый человек, который шепнул боярыне, будто бы если Божиня не слышит молитв, то сестрица ее всяко благосклонною будет.

Речь Еремина звучала ровно, спокойно, а глаза он отвел, но чуюла я — не впервой

рассказывает он сию сказку. Только сколько ни рассказывай, а боли не станет меньше.

— Кто ищет, тот всегда найдет. И боярыня отыскала черную жрицу. Об чем они говорили — мне того не ведомо. — Темные пальцы, загорелые, будто пропеченные, дернули Елисея за прядь. — Но вернулась боярыня задуменною... выбор ей был дан. Она и сделала. Может, и не решилась бы, как знать, однако ж замечать стала, что супруг ее, прежде с нее глаз не сводивший, на дворовых девок заглядываться стал. Нет, не красотой любовался, по-прежнему не было для него женщины краше, чем жена, Божиной даденая, но невозможно мужчине вовсе без наследников. Кому дом передать? Земли? Люд свой? Вот и подыскивал девку, чтоб здоровая да в теле...

Егор подал воды, и Ерема выпил одним глотком, отряхнулся как-то по-собачьи и продолжил:

— А надо еще сказать, что в тех краях аккурат волки в великом множестве водились. Людям-то не особо докучали, разве что вовсе в зиму голодную. Такая и случилась, не иначе Мораниною волей... леса снегом завалило. Морозы ударили лютые. Сгинула вся дичь, кто попрятался, кто померз, кто ушел искать доли иной. Оголодали волки. До того оголодали, что своих старых да слабых пожрали, а это за волками, поверь, редко водится.

Я лишь кивнула.

Знаю. Волк, дед сказывал, зверь особый. И за малыми они ходят, и стариков уважают, сколь умеют, а такого, чтоб своих пожрали, я вовсе не слыхала.

— Водил ту стаю волчище огромный, хитер был и свиреп. Обходил он что силки, что ямы. А хуже всего — людей не боялся. В каждом звере страх перед человеком сидит, и не каждый зверь способен этот страх преодолеть.

Желтизна исчезла из Ереминых глаз.

А может, примерещилось мне? Может, и не было никакой желтизны. Кирей меня впечатлительною натурой обзывал, а ну как имелась в его словах своя правда?

— Вывел он стаю к деревеньке. И не стало деревеньки. Скот весь порезали. В дома сквозь крыши пробрались... что малого, что слабого, что сильного... никто не спасся. Когда о том боярину донесли, то разгневался крепко. Велел собирать большую облаву, со всех деревень народ призвал. Полыхнули по лесу огни. Загремели пугачи, волков подгоняя... и сам боярин в седло сел, потому как власть ему дана над землями этими была, но с властью — и право людей своих беречь.

Елисей открыл глаза и захрипел.

— Не двигайся, Лис... полежи еще немного. Я тут сказку рассказываю. Знаю, ты у нас сказки любишь... особенно если про волков.

Елисей попробовал сказать что-то, но из горла донеслось лишь глухое рычание.

— Лежи, сказал... вот упрямый. Боярыня тож на охоту собралась, пусть и отговаривал ее муж. Одно дело соколиная благородная охота. Иль травля лисья, когда верхами да по лесу. Охотники один перед другим похваляются, кто собаками, кто лошадьми, а кто убранством роскошным. И другое дело — когда охота, которая война, без пощады, без надежды вырваться...

Елисей завыл.

— Тише... ты же слышал, братик, эту историю. Все будет хорошо. А Зослава не слышала. Ей рассказываю. Кирей баил, что она у нас сказки любит. Пусть послушает...

Бурштыновые волчьи глаза вперились в меня.

— И тебя не боится, — добавил Ерема. — Правда, я заверил, что кусаться ты не станешь.

Елисеева усмешка кривобокою вышла. Да и само лицо его, левая половина бездвижна, а правую морщит, кривит, будто бы сказать Елисей что-то силится, превозмочь проклятье, вернуться к облику человеческому.

— Но боярыня, вестимо, мужа не послушалась. А он, за собой вину чуя — понесла-таки дворовая девка, за что и взята была в терем, — не посмел приказывать. Зря... глядишь, перегорело бы сердце, и смирилась бы... а так... пить хочешь?

Еська присел рядом и подал флягу, желтою кожей обшитую. Поили Елисея тонкою струйкой, а он силился глотать, да все одно темный травяной отвар выливался изо рта.

— Облава выдалась знатная... многие волки шкур лишились. А вот вожак, тот ушел... боярин сказывал, что самолично в него пяток стрел всадил, да волк, видать, и вправду непростым был. Как бы там ни было, охотники стаю проредили. И в поместье возвратились. Тогда-то и хватились боярыни. Все на месте, до распоследнего мальчонки, а боярыни нету...

Флягу убрали.

И Елисей закрыл глаза, теперь он походил на мертвеца, бледный, с прозеленью, и не дышит. Или дышит, но слабо. И сердце евонное — его я слышала — стучит через раз. А кольцо вокруг сердца сжимается.

— Боярин в ту ночь поседел весь. Кликнул людей, всех, которые в поместье были, и старых, и малых, никого не пощадил — погнал в лес, искать супругу. И всю ночь бродили, от огней светло, что будто... да без толку. Лошадь боярынину нашли, волками задранную, а саму ее... все-то зашептались, что, мол, без толку теперь, что пожрали волки и костей не оставили, что отомстил охотнику перевертень-вожак за стрелы да стаю свою...

Страшная сказка.

Бабка мне тоже сказки сказывала, да только не страшные, а про девиц-красавиц да разумниц, в лесу заблукавших. Про молодцев, которые оных девиц спасали. Про то, что молодцы сии непростыми были, а кто — боярин зачарованный, кто — хозяин лесной, а кто и просто — оборотень истинный.

— Не хотел верить боярин, что лишился супруги. Три дня сам не ел, не спал, никому не давал... с седла не вылезал, каждый куст, каждый овражек глядеть велел. А на четвертый — отыскал боярыню. В логове волчьем заброшенном. Сидела она, бледна и тиха, с волчатами игралась. И как захотели бить тех волчат, то не дозволила.

А я вдруг увидела женщину, не молодую, но еще красивую, белокожую да статную, чем-то на Ксению Микитичну похожую. Сидит она на камнях, среди костей да ошметков шкур, а у ног ее митусятся лобастые волчата, тычутся носами в руки...

— Боярин рад был, что жена цела. Волчат велел в дом взять. Ее на руки подхватил, понес... целителей позвали, жреца, чтоб молитвой и словом Божиным страхи отогнал. Боярыня то ничего, молитву слушала... и улыбалась. Ни царапинки на ней не было. Тогда-то и заговорили, что неспроста это, что лучше бы ей мертвою быть. Боярин за такие разговоры велел пороть до смерти, но сама понимаешь, розгой да кнутом рты не заткнешь.

Тут он верно подметил.

Говорили люди и говорить станут, с оглядкою, со страхом, но все одно станут. Небось, про бедную боярыню всякого посочиняли.

Живая?

В том и виновная. С мертвых-то спрос невелик. Мертвую-то что, схоронили б, замолили и позабыли б. Жалко мне было ту боярыню.

— А еще девка дворовая, что от боярина непраздна была, взяла и дитя скинула. Волк ей

привиделся огромный, который в окно лез. Кричала она, на крик весь дом сбегся... целитель-то пробовал спасти, а не сумел. Да и девка сама в родильной горячке отошла. Тут-то и вновь зашептались, что неспроста это. Мол, боярыня ее извела, не простила мужу измены. Его-то не тронула, любила крепко, а вот девка — дело иное. Знала боярыня про слухи, не знала... странная она стала. Слова лишнего не скажет. Людей будто бы и не замечает. Улыбается себе и с волчатами играет. Боярин хотел их на псарню отослать, но не позволила. Плакать стала, от еды отказывалась... целитель сказал, что тело боярыни целое, а вот душу ранили, и крепко. А против болезней души у него лекарства нет. Только ждать и молиться.

Ох, тяжкое это дело.

Ведаю.

Видела я таких, которые с больною душою жили, а иные и вовсе на свет родились искривленными, изломанными, что березы после бури. Одни тихие, безобидные. Люди таких привечают, иные и вовсе принимают болезнь за святость. Другие же озлобленные, этих в народе боятся...

— А тут и целитель поведал, что неспроста боярыня. И новость эта... муж-то обрадовался. Послала Божиня утешение за все невзгоды, а дворня заговорила, что неспроста все. Вспомнили и девку, дитя скинувшую, и волка того... и придумали, будто бы не от мужа боярыня дитя понесла, но от зверя лютого...

Елисей протяжно заскулил.

— Люди злые, — тихо сказал Еська и стиснул братову руку. — Им только дай виноватого найти.

— Не перебивай. — Ерема нахмурился. — Сказки надо по порядку рассказывать. Боярин, как услышал, осерчал... одну дуру мало что до смерти не запороли, да легче не стало. Боялась дворня хозяйки. Ненавидела, хотя ж никто от нее никогда и слова дурного не слыхивал. Боярин велел гнать дураков. Сам с женою остался. И еще целителей позвал, дюже боялся, что не перенесет боярыня роды. Не молода уже... а она радовалась. Оживала. Прежнею почти стала.

Ерема замолчал и глянул на меня исподлобья.

— Родила она в ночь. На полную луну. И долго вымучивала из себя дитя, так долго, что вовсе обессилела. Целители были, но не спасли. Говорят, магия на нее не действовала. К рассвету она разрешилась. Девочкой. Крупной. Здоровой. А сама и отошла, будто жизнь свою дочери передала.

Длинная у него сказка выходит, но слушаю и дышать боюся, а ну как оборвет недосказанною.

— Горевал боярин, потому как и вправду жену свою любил. И любовь эту на дочь перенес. И страх, что и ее потеряет. Окружил свою Яснолику заботой, самолично нянчился, пусть и шептались, что негоже мужику с младенчиком возюкаться. Да только никому он не мог доверить дочь свою, единственную отраду. Нет, мог бы, верно, жениться. Не стар был. И невест сыскал бы, будь на то охота. Соседи-то заговаривали, только он боялся, что не полюбит новая жена Яснолику. А если и другие дети родятся? Не желал он иных, кроме дочери. Растил. Пестовал. И слышать не желал, о чем шепчутся...

Елисей глаза открыл.

Обыкновенные, человеческие, разве что, если приглядеться, видны в них золотые искорки.

— А люди и рады говорить... мол, боярин волосом светел, и у боярыни был, что мед вересковый. Так в кого Яснолика чернявой уродилась? И глаз у нее недобрый, зеленый, болотный. И кошки от нее бегут, и собаки страшатся. Одни лишь волки, в которых волчата поднялись, руки лизать готовы. Ходят за дитем серою свитой, оберегают. И боярин в том не видит дурного. Мол, значит, так оно и надо. Зверь — не человек, добро помнит. Как бы там ни было, но росла Яснолика. И выросла красавицей редкостной. Пятнадцатый год ей пошел, когда в краях тех случалось царю-батюшке проездом быть... редкий гость.

— Иного гостя... на порог... пускать... не стоит, — ясно, хоть и вымучивая каждое слово, произнес Елисей.

— Верно. Да только кто ж знал. — Ерема подхватил брата под плечи. — Сядешь?

Елисей кивнул.

— Ему бы полежать часок, так ведь не вылежит, неугомонный. Садись... и кровь оботри, на вот, — он вытащил из кармана холстину. — Потом вместе спалим.

Елисей перекатился на бок, потом поднялся, тяжело, опираясь на дрожащие руки.

— Приглянулась царю красавица Яснолика... так приглянулась, что вовсе голову потерял.

— И совесть, — добавил Евстигней.

— Совесть он еще раньше потерял, — Егор впервые раскрыл рот и кулаки стиснул.

Ох, крамольные то беседы, негоже царя хулить... но со всей крамолы, мною слышанной, сия не самая страшная.

— Конечно, если бы любовь случилась, если бы взял он ее в жены перед Божиной и людьми, никто б и слова не сказал. Да только какая любовь? Кто она? Дочь захудалого боярина, у которой за плечами из приданого — воз мягкой рухляди да полдюжины волков. Не пара царю...

— Особенно женатому, — проговорил тихо Егор.

— Именно... но разве его это когда останавливало.

Елисей сел, согнувшись, упираясь руками в пол. Бледный и страшный. Волосы слиплись. Жилы на шее натянулись, что струны. Голова покачивается. Губа закушена.

И вправду упрямый.

Кому с того упрямства легче? Еська рядом стоит, вроде как монетку по пальцам гоняет, но при том взгляду с братовой спины не спускает, чтоб, если покачнется вдруг Елисей, подхватить, удержать.

Да и Ерема все больше не на меня, на него смотрит.

— Вот и велел царь, чтобы боярыня молодая постель ему слала... тут-то боярин и взбунтовался. За дочь он и против царя готов был пойти. Но куда ему, когда с царем свита. И боярина одолели. И волков постреляли. И пригрозили Яснолике, что если плохо постель постелена будет, то повесят голову отца ее на воротах, как и положено со смутьянами поступать.

— С-сволочь, — просипел Елисей и голову вывернул, губы о плечо вытирая.

— А кто ж спорит. — Егор отвернулся к стене, уставился на раков.

— Седмицу простояли... и уехали. Напоследок царь за службу верную пожаловал шубу соболью да перстень с зеленым камнем... и велел забыть обо всех обидах, как то Божиной заповедано. Мол, простившим свыше воздастся.

Елисей сплюнул, но мешаная с кровью слюна потекла по подбородку. А когда Еська дернулся, чтобы вытереть, то отвернулся, не дал, буркнул:

— Я сам... скоро... погоди.

— Да. Недолго уже осталось. С того случая все пошло не так... Яснолика сделалась мрачна, нелюдима. По волкам своим горевала. Боярин пить стал. Так его попускало. Хозяйство попустил совсем... дворня разбежалась... кто сам, кто добра прихватив. Что чужое горе, когда свою жизнь ладить надобно? В положенный срок разродилась молодая боярыня. Двойней. Радость не радость, горе — не горе...

Елисей с трудом оторвал руку от пола, провел рукавом по лицу.

— Может, стоило ей детей в лес вынести... или в колодец... или еще как... А она не бросила. Нянек отыскала, мамок... ожила будто бы. За хозяйство взялась. За отцом ходила...

— Я ее помню.

— Ага, конечно, помнишь... у него память особая. Я вот врать не стану. Не помню ничего... разве что как дед Архип нас драл за горшки битые. Агафья же пряники после совала, успокаивала. Сколько нам было? Три?

— Четыре.

— Тогда-то мыслилось, кончились беды. Сколько ж можно горя на один дом выплеснуть?

Много.

И слышала я от бабки, что иные дома бывают, будто бы милостью Божини обделенные, что достаются им лишь беды да напасти, а отчего — никому не ведомо.

— Нам пятый год пошел, когда усадьба запылала. Перед тем приезжал человек в деревню, выспрашивал все про боярина, про матушку. Про то, откуда у незамужней боярыни дети взялись, про царя, вправду ли был и когда... ему рассказывали. Отчего ж не рассказать... а седмицы не прошло, как уехал, и выбрались из лесу лихие люди. Это я уже и сам помню... хорошо

— Волки...

Елисей с трудом подтянул левую ногу к груди и принялся тереть мышцы. Небось задеревенели.

— Да, братец... если бы не волки, были бы мы с тобой... точнее, не было бы ни тебя, ни меня. — Ерема старательно отводил взгляд. Не впервой ему было видеть что скрюченные пальцы на братовой руке, что упрямое, но при том болезненное выражение его лица. — Волки были... дед Архип все повторял, что не к добру это. А нянька молилась. Я же... я понять не мог, что страшного. Мне волчьи песни были по душе... баюкали...

— Они из лесу вышли. Конники. Две дюжины... лихие люди... как же... видывал я разбойников. — Елисей перешел к правой ноге. Тер он ее зло, едва ль не драл скрюченными пальцами. — Оборванцы. Голодные. Одичалые. В лесу лошадь — роскошь... и обуза... ее кормить надо... за ней ходить надо... ее скорее сожрут, чем... а эти — все верхами.

— В личинах.

— Призраки... слету стрелами... выкосили... людей мало... пяток холопов... девки, маме на хозяйстве помогавшие... этих не убили сразу... забавлялись... дед наш... он пьяный был, но вышел, заступил дорогу... а его слету палахом. Покатилась голова.

— Мы к волкам сбежать хотели, — виновато произнес Ерема. — Они же звали... Агафья, нянька наша, все говорила, что у волков — не как у людей. Любопытно стало глянуть. Мы и дождались, пока заснет. Выбрались во двор... видели...

— Как деда к коню привязали и по двору тягали. Как Агафью копьями... старая была... Архипа, который за нами с малого ходил, смолой облили и подожгли...

— Маму...

— Она кричала. Отца звала... мы думали, что деда... мы в дровах спрятались. Не знаю, может, Божиня глаза отвела, может... нас искали... дом перевернули весь... нашли бы, конечно... кто-то сказал, что надо поджечь, тогда или вылезем, или сдохнем. — Елисей говорил коротко, жестко. И лицо его поплыло, заострились черты, вытянулись, и кольцо вокруг сердца задрожало. — Так и сдохли бы... в дыму... в огне... на копьях... не важно...

— Он пришел. Дед наш... другой. Он привел стаю. Два десятка оружных конников... это много даже для волков. Но стая... они... не выли... шли тенями... пришли и... люди не поняли, что... почему... полыхало... а волки...

— Сожрали ублюдков, — спокойно произнес Елисей. — Я помню.

— Я тоже. К сожалению. — Ерема передернул плечами. — Иногда вижу... огромный волк черной масти... он был мало меньше лошади... в него стреляли... в них всех стреляли... только куда людям... волки разодрали их...

— Скажи, что невинных.

— Не скажу, просто... жутко.

— Он впечатлительный, — бросил Елисей. — А я проклятый... мы оба проклятые волчьей кровью, но я больше. У него не проявляется почти. А я вот...

— Не спеши, Лис. — Ерема подал руку, помогая брату встать. — Сказки так не рассказывают. Тогда волки достали нас из поленницы. И вожак подставил спину. Понес... так мы познакомились с дедом.

— Он перевертень. Старый. Когда-то боярин обидел его невесту, вот он и сменял душу на волчью шкуру мести ради. Так и жил... он нам и рассказал, что про бабушку нашу, что про матушку, единственную дочь свою, которую тоже любил. И из любви этой в лесу жил, зверем... она знала. Однажды набрался смелости, рассказал. И она приняла что его, что правду. Сказала, что Божиня ее матери лишила, но дала двоих отцов. Не захотела бросать того, кого называла батюшкой от рождения. Да и Волк бы не позволил. Что он мог дать ей? Логово в лесу да охоту полуночную? Он был рядом... и если бы решился прийти прежде, думаю, и царю бы не поздоровилось.

— Волк опоздал.

— Да. И мучился тем долго...

— Мы жили в стае. Года два.

— Больше.

— Дед учил нас. Следы читать. Слушать лес. Слышать лес. И тех, кто в нем обретается... он бы и на охоту повел, но обнаружилось, что я — калечный, — признался Ерема.

— Скорей уж я.

— Во мне почти нет волчьей силы.

— Зато во мне с избытком...

— Человеку нечего делать с волками.

— А волку не место среди людей, — добавил Елисей. — Дед не хотел нас разлучать. Но оставь он Ерему и... он бы одичал. А это не лучшая судьба. Меня к людям отправить? Рано или поздно я не сдержусь. Убью. Сначала одного, потом другого... и не человеком убивать стану... а может, и не дойдет до смерти, может, я просто обернусь и кто-нибудь заметит. Тогда и разбирать не станут, сразу на колья...

— Она сама нас нашла. Матушка... царица, — поправился Ерема и смутился оттого,

верно, что не ту, которая родила, матерью назвал. — Не знаю как. Никто не знает. Но она сама нас нашла. И не побоялась явиться к Волку. Нет, не одна, с магиком старым... говорила... о чем — не ведаю, но убедительна была, если он позволил нас забрать.

— Нас каждый год к нему отпускали. На месяц. Привозили... к логову привозили. Оставляли. А в оговоренный срок он выводил нас к месту, где ждали ее люди. Когда мы спросили, почему... он сказал, что это единственный для нас способ выжить. Что царица поклялась своей кровью не чинить вреда, а помочь. И помогала. Учила. Мы благодарны ей... когда Лиса стала луна звать, его забрали...

— Нам плохо друг без друга. — Елисей плеснул водой на лицо. — Мне... мне предложили тогда или уйти к волкам... или запереть волчью силу.

— Он не захотел меня бросать.

— Ты бы пошел за мной, а тебе среди волков...

— Вот и мучается. Дед не злился. Сказал, что у каждого своя дорога. И научил Лиса тому, что сам умел. Перевертни тоже к магии способны, но у них особая... ведьмачья. Когда он много ее использует, то случается... ты видела, что случается. Так-то вот, Зослава.

— И как тебе сказка? — поинтересовался Елисей, все так же криво усмехаясь.

— Страшная, — не покривила я душою.

— Но ведь закончилась хорошо.

— А разве закончилась? — Я зацепилась за взгляд желтых глаз.

И тихо стало.

Молчали царевичи. Евстигней ногтями любовался. Еська, присевши на корточки, раскачивался взад-вперед. Егор веки смежил, будто спит. Емельяна и вовсе почти не видать.

— Не закончилось, твоя правда... — произнес Ерема почти шепотом. — Но о том лучше помалкивать.

— Обо всем лучше помалкивать. — Елисей протянул мне руку. — И раз уж не боишься перевертня, то...

Руку я приняла.

Чего бояться? Небось и про берендеев всякого сказывают. А Елисей... да обыкновенным парнем гляделся. Больным, правда, ну так давече едва ль наизнанку не выкрутился, а с этого ни у кого здоровья не прибудет. И рука обыкновенная.

Ладонь широкая.

Пальцы короткие, будто обрубленные. И ногти... да, ногти, а не когти, розовые, стриженные криво. А может, и не стриженные, но грызеные, кто их, нелюдей, знает? Еще надобно сказать, что рука эта рыжим кучерявым волосом поросшая. Тут-то мне и вспомнилось, что про перевертней сказывали, будто бы и в человеческом обличье они волохаты дюже, дескать, хоть ты на пряжу вычесывай. А что, носки с собачьей шерсти — самое важнейшее средство, ежели ноги крутит. Небось с перевертней не хуже бы вышло.

Я ажно призадумалась.

Со своего кобеля цепного, скотины дюже поганой норовом, Маришка с полмешка начесывала. А перевертень, ежель матерый, здоровей кобеля будет. И косматей. И стало быть, шерсти больше даст.

— Зося? — Елисей, видать, почуял чегой-то и руку свою поспешил высвободить.

— Ась?

— Не боишься, стало быть?

Ну... если б он в волчьем обличье был. Да с клычищами. Да косматый. Я б десять раз

подумала, надо ли за-ради каких-то носков к нему лезти. А человека? Нет, не боюсь.

Не понимаю только, зачем они мне эту историю рассказали?

Не ради ж того, чтоб сказкою занять.

А спроси — не ответят.

Но я б спросила, да не успела. С протяжным скрипом отворилась дверь...

Глава 8. Внове о тайнах великих и малых

Кирей не вошел — ввалился, и рухнул бы, когда б не Егор, плечо подставивший.

— Если вздумаешь помирать, — любезнейше предупредил царевич, — то давай в другом месте...

— Может, мне тут нравится. — Кирей на плече повис, и, мне почудилось, сделал это с преогромною радостью. А что, плечи у Егора широки, на такие не одного азарина повесить можно.

И сам он невысок, но кряжист, что твой дубок.

— Мало ли чего кому нравится... — пробурчал Егор. — Ты помрешь, а нам убирать...

Выглядел Кирей... да краше в гроб кладут. Коса растрепалась. Сам белый, но как-то неровно белый, с желтоватыми пятнами. Глаза запали. И с лица схуд, будто месяц его недокармливали. Идет еле-еле, больше по полу ногами шкребает, чем идет.

А пахнет от него... дымом пахнет.

Гарью.

Рубаха в подпалинах.

На шкуре ожоги россыпью.

— Эк тебя угораздило. — Еська с другой стороны зашел, приобнял азарина любя, да так, что Кирей зашипел.

— Аккуратней!

— Эт тебе надо было аккуратней, а у нас, уж извини, как выйдет... за целительницами послать?

— Нет.

— Зря... тебя исцелять многие готовы... Зося, не подмогнешь жениху.

— А...

— А ты молчи, болезный... развели тут. Один калечней другого... смотреть противно... — Еська помог Кирею сесть и, опустившись на корточки, принялся сапоги стягивать. — Зославушка... отдаю его в твои заботливые руки.

И подмигнул так, мол, не теряйся.

Кирей застонал и, на кровать рухнувши, веки смежил, за что и получил от Еремы затрещину.

— Не прикидывайся. Сумел нагадить, сумей и ответить...

— Я тебя ненавижу.

— Ага... взаимно, харя азарская. — Сказано сие было без злобы, скорее уж по привычке. — А ты, Зослава, не стесняйся. Ежели чего — поможем... подержим там...

Кирей вздохнул.

И левый глаз приоткрывши, на меня уставился.

— Живая...

— Живая, — подтвердила я. Поживей прочих буду. Вона, и звон в голове стих, и силушка в руках появилась, и любопытствие ожило.

— Здоровая... а я, Зославушка, помру, верно...

И застонал жалостливо-жалостливо. Когда б воистину помирающих людей не видывала, поверила б, что вот-вот отойдет, болезный. Сердце ажно сочувствием наполнилось.

Я Кирейку за руку и взяла.

— Больно?

— Ой, больно... моченьки нет терпеть.

Ерема фыркнул.

Еська захихикал... Евстигней подошел ближе, уставился на Кирея превнимательно, будто прикидывая, как его половчей запечатлеть. И представилась мне стена поминальная с Киреевой портретою в полный рост. Стоит он, горделивый, глаза пучит, и в каждой руке — по раку.

— Воды... — приоткрывши второй глаз, взмолился Кирей. — Дай водички...

Дам.

От дам... Егор самолично ковшик протянул.

И посторонился.

Кирей заерзал, верно, почуял неладное, но все ж решил помирать дальше. Глазыньки смежил, рученьки на груди сцепил. И дышит через раз. Глянешь на такого — хоть бери, обмывай да в гроб укладывай.

— В-воды...

Я и дала.

Цельный ковшик.

На голову. А после и ковшиком помеж рог приложила, спросивши ласково:

— Что ты творишь, интриган несчастный?

Интриганом его еще когда Еська обозвал. А я запомнила. Хорошее слово. Верное.

Кирей-то от воды разом ожил — не зря бабка говаривала, будто бы водица студеная супротив многих хворей помогчи способна. А уж ковшик осиновый и вовсе против дури — средство верное. Била-то я ласково, почитай, в четверть силы, хоть и крепкая у женишка моего голова, а все ему пригодится.

Авось когда и думать научится.

— З-зослава! — Кирей сел на кровати, руки ко лбу прижал. — Синяк же будет! Что я...

— Скажешь, что это не синяк, а след от смертельной раны, полученной тобою в бою за семейное благополучие, — отозвался Еська и на всяк случай шажочек к двери сделал. Уж больно гневно блеснули Киреевы черные очи.

— Будет, — подтвердила я, глядя, как пухнет помеж рогов шишка. Когда б я к ее появлению самолично рученьку не приложила б, то решила б, что третий рог пролупляется. А что, мало ли... Кирей-то не из простых азар, может, у них и положено, чем рогов больше, тем знатней. — Еще как будет, если ты мне кой-чего не объяснишь.

И ковшиком по ладони пляснула.

Для вразумления.

Кирей на ковшик покосился. На меня глянул. На царевичей. Вздохнул и шишку потер.

— Могла бы просто спросить...

— Я спрашивала.

Еще когда спрашивала, только он начал языком кружево вязать, словесей много наплел, да ни одного правдивого.

— И спрашиваю. Чего ты с Ареем сделал?

— Это не я с ним. — Кирей встал и отряхнулся, видать, совсем его водица излечила. Вона, стекает по космах, по лицу, по плечах. — Это он со мною! А ты еще и пожалеть не хочешь.

И руку, полосую ожога перечеркнутую, под нос сунул.

— Не дури, — говорю, от руки взгляд отведши, — а то ж хуже будет...

Болит небось.

Взаправду болит. Вона какой пузырь вздулся. Такой бы проколоть, а после повязку наложить с мазью, на соке чистотела сделанной. Пекучая. Зато чистит так, что ни одна зараза не возьмется. Хотя, мыслится, азарин сам такая зараза, что любая иная ему не страшна.

— Эх, Зослава, Зослава... нет в тебе жалости, нет понимания. — Он рученьку рученькой обхватил, качает. Глазки потуплены. Вид разнесчастный.

— Нет, — отвечаю. — Ни капельки. Зато есть...

И ковшик показала.

Сзади кто-то заржал в голос, залиvisto, куда там жеребцу.

— Да, Кирейка, выбрал ты себе невесту...

Это уже Егор.

Иль Евстигней? Не стану оборачиваться и думать не буду про тое, что ни одна нормальная девка не стала б себя вести, как я ныне. Стыд да позор!

И бабка б, доведайся, мигом бы за хворостину взялася.

Не лезь, Зослава, в мужские дела!

А я и не лезу... разве что краешком самым. Мне бы понять, что происходит. Ведь не примерещился же ж Арей, и огонь, и прочее. И если пришел, то, стало быть, не все ему равно, чего со мною творится? А коль не все равно, то...

— Говори, — и для пущей убедительности образу, я брови насупила и губу нижнюю выпятила, как то бабка робит, когда с дворнею разговоры говорит. Еще бы ноженькою топнуть, но, чуется, перебор будет.

— Говори уже, — поддержал меня Егор и Кирею тряпку бросил. — А то развел тайны на пустом месте. Будто иных проблем нет...

Еська кивнул и монетку выронил. Зазвенела та, полетела по полу, покатила чеканным солнцем под самые мои ноженьки.

Кирей же тряпкою лицо отер, фыркнул, отряхнулся... и на руку подул. Я только глазищами хлопнула: был ожог и нет ожога. Опал пузырь, расправила кожа, разве что красною осталась...

— Мне сложно огнем навредить. — Он усмехнулся и подмигнул, чем вызвал почти неодолимое желание еще разочек ковшиком приложить. Для вразумления. И симметрии. Симметрия, как учила нас Люциана Береславовна, в магических науках важна весьма. — Но у него почти получилось. Видишь ли, Зослава, я обещал вернуть ему огонь. И вернул. Но справиться с ним он должен сам. И честно говоря, хреновато у него пока выходит...

Руку он о рубаху потер.

И продолжил:

— Пока не справится, нельзя ему к людям. Сегодня вон лабораторию спалил... и это еще Люциана не знает, что своих игрушек лишилась.

И глазами на ковшик указал. А мне вспомнилось, что в лаборатории той одних черпаков с дюжины две было, из березы и дуба, из осины и клена, из редкого красного дерева, которое с той стороны моря везут. Медные, серебряные и даже из кости индрик-зверя.

Большие, как поднять обеими руками, и вовсе крохотные.

А еще котлы всяко-разные. Щипцы и щипчики. Весы найточнейшие. Гири свинцовые, литые на особую манеру. Шкафы со шклянкою посудой. С фарфором...

— Вот, вот. — Кирей отжал косу. — Я ему, честно говоря, посоветовал схоронится на недельку-другую, пока она не остынет. А то ж не поглядит ни на магию, ни на устав. За свои черпачки шкуру живьем снимет и вместо коврика постелет.

И в этом была своя правда.

Туточки я понимала Люциану Береславовну всецело. Она, может, эти черпачки не один год собирала. Помню, как сама извелася, когда старые пальцы треснули. Не могла на других шить, все мне неудобно было, мулько...

— А я его просил погодить... но нет, полез... не сдержался. Полыхнул. И снова полыхнет, если контроль утратит. А рядом с тобою он его утратит быстро. Мысли-то в голове не те...

Вот так, Зослава.

— Фрол? — Еська монетку на ладони подбросил и поймал на мизинец.

— Помогает чем может. — Кирей повел плечами, и над ними поднялись белые клубы пару. — Но тут уж, сам понимаешь, или справится. Или нет.

— И как?

Кирей лишь вздохнул.

Выходит, не получается у Арея с огнем сладить. А я... я, дура длиннокосяя, надумала себе всякого.

— Он пытается. И думаю, рано или поздно, справится...

А говорит-то без особой уверенности.

И я б хотела верить, что справится.

И буду.

И плакать не стану. Распоследнее это дело — по живому человеку, что по покойнику, слезы лить. Так что я носом скоренько шмыгнула, рукавом вытерла и спросила:

— А отчего молчал?

— Он не хотел, чтобы ты знала... но своя шкура мне чужой дороже. — Кирей шишку потрогал и, наклонившись, попросил: — Убери, а? Не позорь перед людьми.

А я что? Ничего.

Убрала.

И вправду, неудобно: азарский царевич да с шишкою на лбу...

В той день возвернулась я к себе в покои задуменная-призадуменная. И нисколько не удивилася, обнаруживши гостью позднюю.

— По добру ли тебе, Зославушка, — молвила Марьяна Ивановна.

Хозяин ее принял честь по чести.

Стол накрыл праздничною расшитою скатертью. Самовару принесть изволил. Чай духмяный самолично заварил и, ставши за креслицем, подливал в чашку, да не простую, из белого парпору, столь тонкого, что на просвет все видать. Я и не помню такой: по краешку ободочек золотой, сбоку — ружа малеванная. Дужка тонюсенькая, пальцами взять страшно.

Откудова взялася?

— И вам, Марьяна Ивановна, по добру, — я поклонилась, хотя ж... вот не ведаю.

Марьяна Ивановна — особа достойная, каковую в гостях принимать — честь. Да... все одно копошился под сердцем червячок.

Пришла.

И вошла, хоть дверь запертая была. Сама помню, как запирала.

Сидит.

Чай пьет.

И глядит на меня, будто бы именно я тут даже не гостьюшкой, а просительницей.

— Присаживайся, Зославушка. — Марьяна Ивановна рученькою повела, и Хозяин кинулся исполнять повеление. Только кинул на меня извиняющийся взгляд: мол, может, и рад был бы не пустить, да что он способен супротив магички?

Я и присела.

И чашку с чаем приняла.

— Пей, Зославушка... пей... тебе сейчас пить надо много, чтоб отрава вышла. И кушать... отчего ко мне не заглянула?

— Да вот...

— С женихом, конечно, спорить — дело дурное, да неодобряю... вынес барышню без чувств, так ей самое место среди целителей, а он ее среди дружков прячет. Будто бы они помогут... — Она покачала головою.

Марьяна Ивановна говорила с укоризною, с сочувствием даже.

— Тебе повезло несказанно, что дым оказался не ядовит. А если бы вдруг отрава? Получил бы твой азарин мертвую невесту... хотя... — По губам Марьяны Ивановны скользнула улыбочка. Скользнула и исчезла, будто не было. — Что молчишь, Зославушка?

— Так не знаю, что сказать...

Не умею я со словами играть, как иные.

— Не знаешь... бывает... конечно, бывает... простой девушке такого жениха получить — удача великая... только если подумать, зачем азарину невеста-простолюдинка?

— Не знаю.

— И вновь не знаешь... никто не знает... ты, конечно, девушка видная. Кое в чем и завидная... но насколько? Обстоятельства, они имеют обыкновение меняться. Сегодня завидная, завтра и помеха... не слышала ты небось, но азарину предложили боярыню Радомилу в жены...

И замолчала, вперилась взглядом в лицо.

А я... я вот... с чего-то мне примерещилось, будто бы Марьяна Ивановна добра? С того ли, что прошлым разом она со мною беседу ласковую вела? Иль с того, что позволила в прошлое свое заглянуть?

Секреты открыла.

Приоткрыла.

И верно, лишь те, которые сама желала открыть.

Ныне-то я разумею, что мои силы урожденные — сушая безделица супротив опыту магического, коего у Марьяны Ивановны не одна сотня лет за плечами.

— Это Ильюшечки сестрица. Ей намедни пятнадцатый годок пошел. Конечно, маловата она для жены, а вот для невесты — самое оно, — продолжила Марьяна Ивановна, чаек прихлебывая. И чашечку держала так аккуратненько, двумя пальчиками. Мизинчик оттопыривала.

Платье на ней богатое.

Ткань с переливами, скатным жемчугом расшитая, да цветами, да птицами.

На плечах шаль лежит пуховая, с кистями.

И глядится Марьяна Ивановна заправдошною боярыней.

— Конечно, приданого за девицей не дадут, но Кирей и сам богат без меры. Что ему

золото? Но другое дело, что Радомила, как ни крути, царской крови. И брак с ней упрочит собственные его позиции. Не все азары стремятся с Росским царством воевать. Много найдется и таких, которые решат, что худой мир лучше доброй свары. Пей чаек, Зославушка. И вареньица возьми.

— Если б Кирей пожелал, я б ему перстень сразу возвернула, — только и сумела я промолвить. А Марьяна Ивановна вновь усмехнулась, дескать, глупости ты, девка, говоришь.

— Конечно, но...

Она отставила чашечку, провела пальчиком по жемчугам.

— Видишь ли, Зославушка, в верхах не принято помолвки рвать. Сказанное слово не возвернуть... это ж как признать, что ненадежно оно.

Киваю.

Чаек пью.

Думаю... пытаюсь думать, поелику от мыслей ли, от дня нынешнего тяжкого, но в голове вновь гудение появляется.

— Бросил одну невесту, как знать, не отправит ли прочь и другую. Ты мне симпатична, Зославушка...

И в глаза глядит.

А у самой-то блеклые да холодные, вымороженные будто бы.

— Потому и хочу тебя предостеречь. Осторожней будь.

— Думаете, Кирей меня... — слова несказанные в горле комом стали.

Кирей... он-то всякого натворить способный. И какие такие мысли в голове его рогатой бродят, мне того не ведомо, однако не права Марьяна Ивановна.

Не причинит он мне вреда.

Да и не нужна ему Радомила, будь хоть пятижды царских кровей.

Успокоилось сердце этим, а Хозяин поближе банку с медом подвинул, утешая. И внове потупился: видит, до чего неприятна мне нынешняя беседа, и гостья, но что уж тут поделаешь.

— Думаю, если с тобой вдруг произойдет несчастье, он не сильно огорчится. Конечно, сам руки марать не станет, это не в его характере и позорно. Но, с другой стороны, кто ты, и кто Радомила? С тобою он поспешил. — Марьяна Ивановна чашечку на стол возвернула, ручкою рученьку огладила, а я и заприметила, что пальцы ее ныне сделались белы и холены, что у молодой.

Странно.

— Зелье, — она мой взгляд заприметила. — Ты себе, Зославушка, не представляешь, на что способен талантливый зельевар. Вот взять хотя бы нашу Люциану... конечно, негоже о других спленичать.

Ага, не для того ли она явилась?

Яду принесла.

Гадючьего. Целебного.

— Ей небось пятый десяток пошел, а выглядит, что молодая... и выглядеть так будет. И я, каюсь, грешна... всецело омолодиться уже не выйдет...

Ей не седьмой десяток, и не восьмой, небось сотню разменяла, а то и две.

— ...но по мелочи себя побаловать... отчего б и нет? Ты пока сама молода, не понимаешь, до чего скоротечна красота...

И рученьки в рукава широкие спрятала.

Вот диво... я ж ни словечка не сказала. Охота молодиться? Пушай. Не мне судить. Вот не у нас, в Барсуках, в Конюхах соседних, баба одна живет. Семерых народила, годков сменяла немало, а все себя девкою мнит. На ярмароке давече видала ее. Лицо набеленное. Щеки нарумянены. Брови угольками выведены густые, над носом смыкаются. Не брови — крылья ласточкины. Волосы зачешет гладенько да отваром луковой шелухи выполощет, чтоб, значит, седину прибрать.

Они опосля того рыжиною отливают.

Лент в волосья наплетет.

И срамно, и смешно, и главное, что сама-то она смеху в том не видит ни на грошик.

А тут руки... и красивые... может, будь я посмелей, поспытала б, что за зелье такое чудодейное, а там, глядишь, и прикупила б для бабки.

— Люциана у нас по молодильным кремам большая специалистка... все думает, что если стареть не будет, то Фролка к ней вернется. — Марьяна Ивановна улыбалась, а из глаз-то холодок не ушел. — Забыла уже, как сама когда-то носом воротила. Мол, нехорош... звания простого, холоп откупленный. Куда ему до боярской-то дочери. А годы прошли! И что? Понадобилась кому дочь боярская? Одна живет. Бобылкою. Родня-то ей кланяется, магичке превеликой, да все одно за спиною посмейваются. Не помогла ей магия мужа отыскать.

Говорила Марьяна Ивановна, взгляду с меня не спускаючи. Слухаю ли?

Слухаю.

Хоть и не надобно мне это.

— Фрол-то помнит, как сватался... хотя и сам бобылем живет. Мужик хороший, к слову, крепкий. Не свиристал, что некоторые...

— Кто такая Любанька?

— Что? — На щеки Марьяны Ивановны краснотою плеснуло. — Откуда ты...

— В лаборатории... — Ох, не люблю я врать, да и не умею, оттого и страшно: вдруг да поймет Марьяна Ивановна про лжу. — Проходила... слышала... про Любаньку.

— Когда?

— Сегодня, — сказала я и языка прикусила.

Ежель и дальше начнет меня Марьяна Ивановна выпрашивать, то как бы не сболтнуть про волшбу Елисееву! Ой, дура я, дура... что мне до Любаньки?

И до Люцианы Береславовны.

И до прочих, которые в верхах сидят.

— Забавно... вот смотришь на тебя, Зославушка, и видишь девку простую, бесхитросную. — Руки вновь из рукавов вынырнули, белые, гладкие, с пальчиками тонкими. И нет на тех пальчиках ни перстней, ни колец, что дивно, поелику и ожерелье на шее Марьяны Ильиничны лежит хомутом, с жемчугами да бурштынами, и серьги в ушах тяжеленные покачиваются, и браслеты сияют... а колец нет.

Отчего?

Или зелье чудодейное металлов не любит.

Та же Люциана Береславовна сказывала о взаимодействиях всяких. Может статья, что золото с серебром всю магию молодильную на нет изведут.

— А вопрос задашь, так и не знаешь, чего ответить... Любанька — племянница Люцианы. Была у нее сестрица младшая... тоже в магички метила, да даром ее Божиня обделила. Зато красоты отсыпала меру и еще с полмеры. Но с той красоты не вышло ничего

хорошего. — Марьяна Ивановна пожевала губами, будто бы раздумывая, что и как мне сказать. — Понесла девка. А от кого — неведомо... домой ее отправили с позором. Родня-то в ужас пришла. Батяка их горячего норову был, даром что старой закалки. Будь его воля, велел бы камнями забить, как с распутными девками на его молодости поступали.

Я покачала головой.

Вот ведь... отчего так? Распутничают вдвоем, а как отвечать, то девка виновная? Я и у жреца спрашивала, он только закашлялся и велел не лезти умом своим коротким в вещи, каковые для бабьего разума не подвластные.

— Но от роду отказал. Велел из дому гнать. Пусть живет как знает, а его не позорит. Люциана сестрицу пригрела. Ей-то батяка давно указом не был. Помню... приходил, ругался, а она ему так с холодочком: мол, сам не доглядел, нечего на других пенять. После того до самой его смерти не разговаривали. Люциана сестрицу в городском доме поселила. Обычному человеку-то в Акадэмии делать нечего... целителей нашла. И сама наглядывала, как минута случалась. Да выпало так, что срок у Светозары на лето выпал. На ночь многолунную, которая раз в пять лет случается. Этою ночью травы особую силу имеют, и сколько б ни хранились, сила не уйдет.

Это я ведала.

Сама с бабкой ходила в позатым годе.

Ночь-то и вправду особая, и силу травы за седмицу до нее набирать начинают. А после седмицу держат. И энти две седмицы травники не пьют, не едят — собирают, разбирают, сушат. Каждая травинка особого подходу требует. Одни на солнце сушить надобно, другие — в тени, но на ветерке. Третьи — тени глубокой требуют. Четвертые и вовсе сушить нельзя, но только соку гнать.

— Кто ж знал, что девке непраздной в голову взбредет? Не по нраву ей пришелся целитель, сестрицею нанятый. То ли груб был, то ли недостаточно учтив, то ли просто дурь втемяшилась, что загубит и ее, и дитя... а еще девка-холопка задурила, что, мол, есть на рынку бабка, которая так роды принимает, что роженица и вовсе боли не чувствует. И рука у нее легкая, и сама-то знающая, и грамота царская имеется, что баба сия — не просто так, а целительница... вот Светозара и поверила. Как почувяла, что срок настал, так не за целителем послала, а сама тишком из дому сбегла. К знахарке той.

Марьяна Ивановна сказала что сплонула.

— Что уж там получилось, никому не ведомо. Знахарка после клялась и божилась, что все верно делала, но Светозара молода была. Зад узкий, сама малая, а дитя — так огромное, как вместилося. И легло поперек. Мол, тут бы никакой целитель не сподмог. Когда Люциане сказали, что сестрица ее исчезла, она-то все позабросила... искать стала и нашла. По крови-то, чай, недолго. Но поздно... Светозара уже сутки мучилась, вся внутри изорвалася, отходила. Только и успели, что живот порезать и дитя достать. Да и то... знахарка ее простынями давила, чтоб вышло. Вот и передавили... девочка-то выжила, только... горбата она ныне. И рука одна усохшая. А ноги едва-едва ходят... но Люциана в Любаньке души не чаует. Ей еще когда говорено было, отпусти, не мучай душу живую, Божиная сироту не обидит, но нет... упрямая она. И уж если невзлюбит кого, то изведет всенепременно.

И вновь Марьяна Ивановна в меня взгляд вперила.

Мол, догадайся сама, Зославушка, кого ныне Люциана Береславовна не любить изволят. А чего гадать? Сама ведаю...

— А к Фролушке приглядишься. Хороший мужик...

Сказала и поднялася.

— Чтой-то загостилаешься я ныне, Зославушка, — молвила. — Притомилась. И тебе, чай, отдых надобен. Хотела убедиться, что здорова ты...

— Здорова, — уверила я Марьяну Ивановну.

— Вот и ладно... а то ж берендеевой крови в тебе есть...

— Есть, — отвечаю, не разумея еще, куда наша хитрая беседа выпетляла.

— Вот... а берендеям иные травы, которые для людей безопасные, чисто отравы. Взять хотя бы донник... хорошая травка, полезная. От почечной колики помогает. Или от живота, если крутит частенько. Но то человеку, а смешай с дегтем да волчею ягодой, подпали, и пойдет дым... от дыма того берендеи дуреют. Агрессивными становятся.

[Купить полную версию книги](#)